

М . М У Р А Т О В

128
11 31
P180889

ЮНОСТЬ ЛОМОНОСОВА



ДЕТГИЗ 1944



Московский дѣлъ. Пирнессъ изобрѣдиль вѣдѣно,
 Что чистый свѣтъ стѣхивае и притомъ всѣмъ въ Англію.
 Что въ Римѣ Царьство и что Виргиніи нѣтъ,
 То онъ адмиръ въ своемъ жемчужинъ вывѣстивъ,
 Открылъ натуры хромъ богатствами, славяне Россію
 Похвалъ ихъ астрологъ, въ наукахъ Аджисовъ.

М. МУРАТОВ

ЮНОСТЬ ЛОМОНОСОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НАРКОМПРОСА РСФСР
МОСКВА 1944 ЛЕНИНГРАД

Предисловие

Десятилетний мальчик в белом суконном кафтанчике с пуговицами из золота стоял у аквариума величиной с большой стол. В руках у мальчика был маленький, искусно сделанный корабль с пушками и парусами. На полке около аквариума выстроились в ряд такие же деревянные модели военных кораблей, по разной формы и величины. Мальчик пускал их плавать по воде аквариума.

Дверь в зал, где играл мальчик, отворилась, и вошел высокий молодой человек в светло-зеленом кафтане и со шпагой на боку.

Он почтительно поклонился мальчику и сказал:

— Должен донести печальную новость: вчера Михайло Васильевич Ломоносов скончался.

— Что о дураке жалеть? Казну только разорил и ничего не сделал, — ответил мальчик.

— Вы сами изволили обучаться по его «Российской грамматике», которую и все наше учащееся юношество изучает. Отечественную историю вы изволили учить по его «Краткому российскому летописцу», ибо другой учебной книги пока еще никто не написал. Да он же составил «Краткое описание разных путешествий по северным морям» и подал вам с просьбою о посылке экспедиции для отыскания северного морского пути вдоль сибирских берегов.

— Запоматова! — сказал мальчик.

— Михайло Васильевич Ломоносов был не только русский академик, но и двух иностранных академий почетный член. Его открытия в физике весьма известны. Он новую теорию теплоты предложил и грозу объяснил действием электрической силы. Он первый заметил атмосферу вокруг планеты Венеры и многие иные открытия сделал. Да и стихами стяжал заслуженную славу. Вы же сами изволили слушать, как я недавно читал его стихи:

Держите нас ободренны
И чужьем нашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Сии стихи означат: старайтесь показать, что и в Российской земле могут вырастать люди, подобные греческому мудрецу Платону и славному английскому ученому Ньютону.

Мальчик вдруг повернулся спиной к говорившему и начал прыгать на одной ноге. С раннего детства у него была эта странная привычка: несколько раз в день он начинал прыгать и притом нередко в самые неподходящие моменты.

— Не подобает вам, милостивый государь мой, таким образом отзываться о россиянине, который не только здесь, но и в Европе ученостью своей был славен, — сказал молодой человек и вышел из зала.

Через несколько минут он вернулся с большой книгой в твердом переплете, обтянутом желтой кожей с золотым тиснением. Раскрыв книгу, он показал ее мальчику.

На заглавном листе было напечатано:

«Собрание разных сочинений в стихах и прозе господина химии профессора М. Ломоносова. Печатано при Московском Университете в 1757 году».

Перед заглавным листом был помещен портрет писателя в его кабинете. Под портретом стояла стихотворная подпись.

— Соболаговолите взглянуть внимательнее, каков был покойник, — сказал молодой человек. — Даже дел его не зная, можно сказать, что человек был не мелкий, а сильный и властный. Видно также, что науке и писательству жизнь свою посвятил: на полке у его стола стоят сосуды для опытов химических, на столе ящичек со многими отделениями, видимо для коллекции минералов предназначенный, в руке он держит перо, а перед ним — бумага и книга. Извольте прочитать стихи, под сим портретом напечатанные.

Мальчик взял книгу и стал читать, слегка запинаясь на незнакомых словах:

Московский здесь Парнас изобразил витию,
Что чистей слог стихов и прозы ввел в Россию.
Что и Риме Цидерон и что Виргилий был,
То он один в своем понятии вместил,
Открыл природы храм богатым словом россов.
Пример их остроты в науках Ломоносов.

— Парнас наименование горы, на коей, по древнегреческим преданиям, жили музы, богини и покровительницы

поэзии и искусства. Вития, или ритор, — человек, в красноречии искусный. Цицерон был великий римский ритор, а Virgilius — знаменитый стихотворец, и им уподобляется в сей подписи Михайло Васильевич Ломоносов. Он изучал законы натуры, или, иначе сказать, природы. О них говорил и писал он прекрасным русским языком, каким до него никто еще не писал в нашем отечестве. И не случайно сия книга напечатана при Московском университете: первый наш университет в Москве учрежден в 1755 году по его мысли, — пояснял молодой человек.

Мальчик не дослушал и несколько раз дернул головой снизу вверх — так выражались у него обычно нетерпение и досада. Его собеседник закрыл книгу и унес ее.

Такой разговор происходил во дворце императрицы Екатерины II в апреле 1765 года на другой день после смерти Ломоносова. Мальчик был сын Екатерины II, наследник российского престола Павел, числившийся генерал-адмиралом, несмотря на свой десятилетний возраст. А молодой человек — его воспитатель и учитель С. А. Порошин, вскоре после того впавший в немилость при дворе и уволенный от должности.

После смерти С. А. Порошина остался дневник, в котором он, между прочим, писал, что не раз объяснял своему ученику, как много сделал для родины Ломоносов. В этом дневнике он записал и слова наследника о Ломоносове, сказанные на другой день после его смерти.

Наследник только повторял суждения придворных, говоривших, будто Ломоносов разорял казну. Ломоносов долго делал опыты для получения стекла разных цветов. Потом он основал стекольный завод, вырабатывавший также и бисер, ранее ввозившийся из-за границы. Также Ломоносов создал мастерскую, в которой производились художественные работы из особого разноцветного сплава — мозаики. В этой мастерской под руководством Ломоносова была создана мозаичная картина «Полтавская баталия», сохранившаяся до наших дней. На картине изображен Петр I вместе со своими сподвижниками на поле Полтавской битвы в разгар сражения. Ломоносов вложил в это произведение то патриотическое чувство, которое выразил в стихах:

Тогда от радостной Полтавы
Победы русской звук гремел,
Тогда не мог Петровой славы
Вместить вселенныя предел.

Изделия мозаичной мастерской Ломоносова не уступали лучшим заграничным образцам. Но для создания нового про-

изводства потребовался капитал. Ломоносов получил для этого деньги от государства. И находились люди, утверждавшие, будто он ввел казну в слишком большие расходы, и забывавшие о его великих заслугах.

Ломоносов был *первым* русским ученым, который стал академиком и приобрел известность за границей.

Академия наук была учреждена в Петербурге в 1725 году для того, чтобы вести научную работу в нашей стране и изучать ее природные богатства. В первое время она состояла исключительно из иностранных ученых, которые приглашались в Россию с обязательством подготавливать себе преемников из русских людей. Однако немцы, составлявшие большинство среди академиков, старались держать управление Академией наук в своих руках и не допускать в нее русских. Ломоносов был первым русским ученым, которого они вынуждены были принять в Академию наук.

«Я к сему себя посвятил, чтоб до гроба моего с неприятелями российских наук бороться», писал он незадолго до смерти.

Ломоносову приходилось побеждать такие препятствия, которые казались непреодолимыми. Он был сын крестьянина и жил в ту пору, когда крестьянским детям был закрыт доступ в школы. Даже тогда, когда Ломоносов стал академиком, его всё еще попрекали крестьянским происхождением.

Поэт-дворянин А. П. Сумароков, враждовавший с Ломоносовым, писал с насмешкой:

Мужик не позабудет,
Что кушал толокно,
Хотя посажен будет
За красное сукно.

Красным сукном покрывались в то время столы в учреждениях. Ломоносов, приняв участие в управлении Академией наук, стал заседать за таким столом.

Лишь немногие понимали в то время, что заслуги Ломоносова еще более замечательны оттого, что он сам проложил себе дорогу от крестьянской избы до Академии наук.

Юношеские годы Ломоносова, когда он, бросив отцовский дом ради ученья, решил идти своим путем, так же значительны, как и вся его жизнь. Уже в детстве и в ранней молодости проявились его необыкновенная любознательность и твердая воля.

Книга о юности Ломоносова, полной напряженного труда, борьбы и опасностей, рассказывает, как рос и учился один из величайших ученых и писателей нашей родины.



Детство

В ноябре 1711 года у крестьянина Василия Дорофеевича Помоногова родился сын.

Мальчик появился на свет в Михайлов день.

— Назовем Михайлом, — решил отец.

Деревня Денисовка, где жил Василий Дорофеевич, была расположена на большом острове. Вокруг острова текла широкая и глубокая река Северная Двина.

С берега виднелись старинные церкви и дома города Колмогоры.

Вниз по течению Двины, верстах в девяноста, раскинулся другой большой торговый город — Архангельск. В тридцати верстах от Архангельска начинается Белое море.

Вокруг Денисовки была кочковатая низина, местами полая ивняком. Не случайно деревня имела и другое название: Болото.

Однако крестьяне жили не особенно бедно. На острове были не только болота — имелись и луга и полоски обработанной земли. Но жители не были земледельцами.

— Нас река да море кормят, — говорили они.

Василий Дорофеевич жил богаче многих односельчан.

Это был человек сильный, выносливый и предприимчив.

вый. Он имел рыболовное судно и первый оснастил его так, как это делали голландские моряки, корабли которых заходили и в Белое море.

Каждый год с весны и до осени Василий Дорофеевич уходил в море. Только упорный труд сделал его зажиточным человеком.

— Мой достаток я кровавым потом нажил, — говорил Василий Дорофеевич.

Впрочем, и зажиточные крестьяне жили в Денисовке почти так же просто, как и другие жители деревни.

В избе у тех и у других вдоль стен стояли лавки, а в углу под образами белел некрашенный стол. И в богатых и в бедных избах были маленькие окна; но у бедных отверстия оконницы затягивались рыбьим или бычьим пузырем, зимой же туда вмораживался кусок льда, а у богатых окна были из слюды или из стекла, которое стоило тогда не дешево.

И в зажиточных и в бедных семьях одинаково хлебали уху деревянными ложками из общей деревянной чашки. Но в достаточном доме имелась и оловянная и медная посуда. В каждой избе на полках стояли туяски из березовой коры, в которых лежала разная мелочь. Но у хозяйки богатого дома, кроме того, можно было увидеть ларец из моржовой кости с резьбой, которой славилась холмогорские мастера.

На дворе у зажиточного крестьянина стоял большой амбар, где по возвращении с промысла ставились бочки с соленой рыбой, складывались сотнями тюленьи кожи и хранились разные снасти. Василий Дорофеевич, кроме того, устроил около дома пруд и пустил туда рыбу.

Дети во всех семьях Денисовки одинаково рано научались грести и править лодкой. Нередко восьмилетние ребята одни уплывали на лодке далеко по реке и не скоро возвращались назад.

— Весной пойдешь со мной в море зуйком, — сказал отец Михайлу, когда ему исполнилось десять лет.

Зуйками уходили на промысел почти все мальчики и десять-двенадцать лет.

Зуйки помогали вытаскивать сети, вычерпывали воду, набравшуюся в лодку, чистили рыбу. Идя в первый раз с отцами на промысел, ребята радовались и слегка гордились. И Михайло Ломоносов посматривал на ребят, еще остававшихся в деревне, как мальчик, уже принятый в школу, смотрит на ребятешек, которые до этого еще не доросли.

Уйдя с отцом в море, Михайло Ломоносов действительно начал ученье, но обучался незаметно.

— Ныне год будет ледовой. Карское море будет долго льдом забито, — говорил Василий Дорофеевич.

— Почему знаешь? — спрашивал мальчик.

— Ежели хочешь узнать, где льды встретишь, примечай, куда дуют ветры, — отвечал отец.

Про Василия Дорофеевича говорили, что он в рыбной ловле удачлив. А был он удачлив потому, что хорошо знал жизнь моря.

— На сей неделе треска близко к берегу не подойдет, — говорил Василий Дорофеевич.

— Отчего? — спрашивал Михайло.

И отец объяснял ему, куда в такую погоду рыба должна направиться, чтобы найти хороший корм.

— Следи, куда чайка летит. Чайка — наш брат рыбак, — говорил Василий Дорофеевич.

И он объяснял сыну, как, наблюдая за полетом морских птиц, можно проследить ход рыбы.

Мальчик был попутив. Ему не нужно было повторять два раза одно и то же. Он запоминал сразу и навсегда.

Когда начинался лов, на судне бывало много работы. Зуйки помогали ставить и вытаскивать сети. Покрасневшими от холода руками они выбирали рыбу из сетей и бросали ее на дно лодки. Потом сеть снова опускали в воду, а рыбу начинали разделявать. Надо было быстро распластывать одну рыбу за другой, посыпать солью и бросать в бочки. Едва успевали покончить с одним уловом, как снова вытаскивали сети, и снова начиналась та же работа.

Соль разъедала пальцы, пыли руки и плечи. Но об отдыхе нельзя было и думать. Мальчик привыкал не поддаваться усталости.

Особенно трудно бывало во время шторма в открытом море. Маленькое судно то взлетало вверх, то летело вниз, как доска на высоких качелях. Волны перехлестывали через борт, и зуйки должны были непрерывно вычерпывать воду. Широко расставив ноги, чтобы не упасть, мальчик целые часы проводил в упорной работе.

Сперва, когда показывались белые гребни волн и начинало подбрасывать судно, бывало и страшно и радостно. Потом, после нескольких часов работы, утомление заглушало все остальные чувства. Но никто не решался пожаловаться на усталость.

— Море упрямо. Ежели его не переупрямишь, пропадешь, — говорил Василий Дорофеевич.

С каждым месяцем плавания в душе мальчика вырастало упорство. Оно росло незаметно, так же, как незаметно креп-

ли мускулы рук и расширялась грудь. Чем труднее было дело, за которое приходилось браться, тем настойчивее доводил он его до конца.

В четырнадцать лет Ломоносов стал высоким, сильным и смелым подростком.

В то лето Василий Дорофеевич ходил на своем судне к Кольскому полуострову. Здесь Михайло Ломоносов познакомился с лопарями, которые прикочевывали к берегу моря, чтобы ловить рыбу. Это были малорослые, тихие, добродушные люди. Они дружески хлопали русских по плечу и приглашали их в свои земляные жилища — вежи.

Молодежь затевала игры.

Однажды Михайло Ломоносов предложил лопарям поместиться силой. Выбрав на берегу палку потолще, он крепко взялся за нее обеими руками и бросил вызов:

— Ну, кто меня перетянет?

Один из лопарей схватил палку с другой стороны и уперся обеими ногами в землю. В ту же минуту Михайло дернул палку к себе с такой силой, что лопарь покачнулся и полетел на землю лицом вниз.

Столпившиеся вокруг лопари переговаривались между собой и подзадоривали друг друга. Потом они стали выходить на состязание один за другим.

Михайло оставался победителем каждый раз. Если мускулы его начинали слабеть, он призывал на помощь все свое упорство, готовый скорей надорваться, чем уступить. При общем смехе четырнадцатилетний мальчик перетягивал взрослых, тридцатилетних лопарей.

Василий Дорофеевич, глядя на подрастающего сына, надеялся, что со временем передаст свое судно в крепкие руки.

У мальчика оказались не только твердые руки, но и острый, внимательный взгляд.

Для засолки рыбы Василий Дорофеевич каждый год покупал много соли. Жители побережья Белого моря — поморы — знали, как добывать соль и очищать ее, вываривая в особых варницах.

Однажды, отправившись закупать соль, Василий Дорофеевич взял с собой сына. Когда приехали к варницам, мальчик стал подробно расспрашивать, как добывается соль. Он все хотел видеть сам и не отошел от варницы, пока на его глазах не получилась белая, чистая соль.

— Солеваром хочешь стать? — шутя спросил отец.

Солеваром мальчик не сделался, но закупать соль научился. Когда Михайло стал подростком, отец послал его к варницам за солью. Михайло привез соль чистую, мелкую

и недорогую. С тех пор каждую весну он ездил один закупать соль для отцовских промыслов на весь год.

Но мальчик задавал и такие вопросы, на которые никто не мог ему ответить.

Когда в летнюю ночь приходилось плыть по морю, вода, рассекаемая лодкой, иногда начинала вдруг искриться. За кормой тянулся светлый след.

— Почто вода светится? — спрашивал мальчик.

— Бывает, — неопределенно отвечал отец.

Когда наступал час отлива, мальчик любил всматриваться в открывавшееся перед ним морское дно.

Из-под воды показывались мокрые ветви морской капусты и других водорослей. На песке виднелись небольшие розовато-желтые морские звезды, на выступающих камнях можно было найти маленькие изящные белые домики рачков, которых называют морскими желудями.

— Отчего вода каждый день приливает и отливает и всегда в те же часы?

Этого не знал никто.

Зимой в темные вечера и ночи иногда небо вдруг освещалось с севера как будто заревом отдаленного пожара. Нередко на небе показывались широкие розовые или малиновые полосы. Они трепетали и колебались, точно невидимая рука встряхивала протянувшиеся по небу цветные полотнища.

— Сполах играет, — говорил Василий Дорофеевич.

Однако эти слова не объясняли ничего.

Василий Дорофеевич мог научить сына всему, что должен был знать хороший рыбак и кормщик рыболовного судна, но он не мог выучить мальчика даже грамоте, потому что не знал ее сам.

В то время школ не было не только в деревнях, но и во многих больших городах. В деревне знали грамоту обычно священник и дьячок. Да и они иногда едва разбирали книжную печать. Крестьяне, желавшие научить своего ребенка грамоте, отдавали его обычно в обучение священнику или дьячку за особую плату. Ребята учились читать не по букварю, а по церковным книгам.

Сосед Ломоносовых, крестьянин Иван Афанасьевич Щубной, был человек грамотный.

Михайло Ломоносов бывал в его избе и видел, как в праздничный день Иван Афанасьевич брал большую книгу с крупной печатью и читал вполголоса. Книга была церковная. Других книг было тогда мало, и они попадали в деревню только в очень редких случаях.

Старинный церковнославянский язык звучал чуждо, и многие слова были непонятны мальчику.

Церковные молитвы его мало интересовали. Однако он не спускал глаз с книги. Он видел, что какие-то черточки и знаки превращались в живое слово. Он хотел узнать, каким образом это может быть. Как обычно, ему нужно было до конца понять то, что он видел.

Шубному нравился сероглазый соседский мальчик, так внимательно смотревший на его книги.

И когда Михайло однажды попросил поучить его читать, Шубной охотно согласился.

Раскрыв книгу молитв — часослов, Шубной показывал мальчику буквы и говорил, как они называются по-славянски:

— А — аз, б — буки, в — веде, г — глаголь.

Потом пояснял:

— Сложишь вместе, выйдет слово: буки, аз — ба, буки, аз — ба, буки, аз да буки, аз — баба.

Мальчик вдруг понял. В странных названиях «буки», «аз» надо обращать внимание на первый звук. Соединялись вместе эти звуки, и получалось слово: ба-ба — баба.

Это было неожиданно и приятно, как будто удалось разгадать загадку: стояли рядом палочки да вдруг заговорили, сказали слово. И вот он узнал, как они это сделали.

Потом Шубной показывал ему слово в книге и называл одну за другой буквы.

У мальчика была острая память, и нередко он сразу повторял названия букв без ошибки.

— Тяни вместе, — говорил Шубной.

Мальчик тянул по складам, и получалось слово.

Когда Михайло был маленьким, он любил смотреть, как отец делает верши для ловли рыбы. Отец брал гибкие, длинные ивовые прутья и начинал сплетать их вместе. Получалась продолговатая круглая корзина. Верхние концы прутьев заострялись и загибались внутрь так, что сперва вход в вершу был широк, а потом становился все уже и уже. Михайло понимал: рыба легко войдет в вершу, а когда захочет выйти назад, наткнется на концы прутьев и останется в верше. Мальчик радовался, наблюдая, как получается хитро придуманная ловушка. Но из прутьев, которые сплетал отец, выходило всегда одно и то же: верша. А буквы в книге, соединяясь вместе, давали новые слова.

Михайло чувствовал себя так, как будто, учась читать, он попадал в какой-то другой мир. Каждый шаг в этом мире приводил к новым открытиям.

Он старался бывать у Шубного как можно чаще.

Узнавать новое было интересно, но не всегда легко.

Приходилось в одно и то же время и читать и учиться славянскому языку.

— «Даждь ми», — читал Михайло и останавливался, недоумевая: слова как будто бы и знакомы и все же непонятны.

— «Подай мне», — переводил Шубной.

Нередко попадались сокращения; мальчик тянул буквы, а слово не выходило.

В книге стояло: «Дх». А над строкой — какой-то знак.

Мальчик читал: «Дх». Получалась бессмыслица.

Шубной указывал на черточку, стоявшую над буквами и означавшую сокращение.

— Видишь — титло. Читай правильно, — говорил Шубной.

В конце концов мальчик догадывался:

— «Дух».

Даже после того, как названия всех букв стали известны, сперва удавалось прочитать только несколько строчек за целый урок.

Шубной рассказывал Михайлу:

— В Холмогорах жил один старик, богач. Так он любил говорить в поучение: первую сотню рублей я долго с великим старанием наживал, а остальные пришли сами. Вот так же и чтение: первые листы с трудом даются, остальные пойдут сами.

Но мальчика не надо было ободрять. Чем труднее попадалось слово, тем он упорнее старался его прочитать и не закрывал книгу, пока не добивался своего.

Скоро предсказания Шубного оправдались: Михайло стал за один раз прочитывать целую страницу. Потом чтение пошло еще быстрее.

Иногда Михайло брал книгу домой. Но дома не удавалось читать без помехи.

Мать у него умерла, когда ему шел девятый год. Василий Дорофеевич женился второй раз. Но и вторая жена вскоре умерла. Тогда он женился в третий раз.

Новая мачеха невзлюбила пасынка. Мальчик был грамотный, толковый, однако любил все делать по-своему и неохотно подчинялся. Мачеха не чувствовала себя при нем полной хозяйкой в доме. Между ними началась глухая вражда. И когда Михайло, примостившись у окошка, раскрывал книгу, мачеха говорила насмешливо:

— Грамотей явился.

Мальчик не склонен был безропотно сносить насмешки. Он всегда давал отпор, если его задевали.

И потом говорил своим деревенским сверстникам:
— Злонравная у меня мачеха.

Михайло научился хорошо читать, но этого было мал захотелось уметь писать.

Он стал учиться у всех, у кого мог: и у Шубного и деревенского дьячка.

В избе Василия Дорощеевича появились маленькая глиняная чернильница, гусиные перья, толстые листы грубой синеватой бумаги.

Василий Дорощеевич знал по себе: можно и без грамоты хорошо ловить рыбу, приобрести достаток, стать уважаемым в своей деревне человеком.

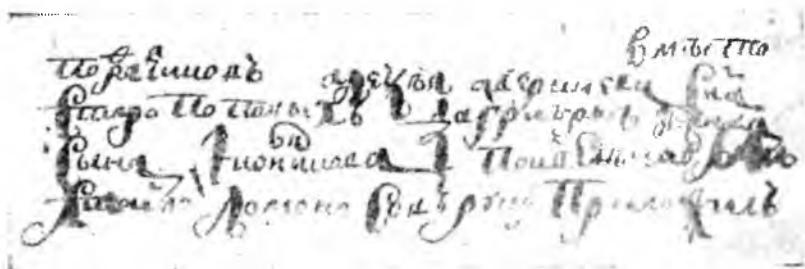
Но когда он подражался холмогорским купцам доставить на судне их груз в Кемь, Мезень или Пустозерск, не редко приходилось подписывать договоры. Крупную сделку при продаже рыбы тоже бывало полезно закрепить на бумаге.

Надо было отыскивать грамотного человека. Грамотей писал: «По его, Васильеву, велению руку приложил». И ставил свое имя.

Василий Дорощеевич просил еще раз прочитать бумагу. И, слушая повторение, думал недоверчиво: «Кто его знает, может, кое слово выпустил, а кое прибавил. А в том слове все дело».

Василий Дорощеевич убеждался, что его сыну и наследнику грамота может пригодиться.

Когда Михайлу исполнилось четырнадцать лет, односельчане уже обращались к нему, если нужно было написать или подписать деловую бумагу.



Подпись Михайла Ломоносова на подрядном договоре в 1726 году: «Вместо подрядчиков Алексея Аверкиева сына Старопоповых да Григория Иванова сына Иконникова по их велению Михайло Ломоносов руку приложил».

Он писал правильно и уверенно, хотя и не очень чисто.

Пока мальчик учился грамоте, каждый день приносил ему что-нибудь новое, как в то лето, когда он в первый раз пошел в море зуйком. Ему было интересно узнавать новые буквы и радостно, когда из них вдруг получалось знакомое слово. Но когда он научился читать, оказалось, что книги, которые можно достать, похожи одна на другую.

Это были церковные книги — часослов, псалтирь и некоторые иные. Однако он все-таки продолжал читать.

И мачеха с усмешкой говорила его отцу:

— Михайло-то все читает. Умнее отца хочет стать.

Василий Дорофеевич хмурился и молчал. Он был по натуре человек добрый и не любил ссор. К тому же пока можно было не беспокоиться: сын хотя и читал церковные книги, однако ни в дьячки, ни в монахи совсем не собирался. Другим деревенским ребятам он не уступал ни в чем: ни в силе, ни в умении работать.

— Придет время, женим парня. Обзаведется семьей, с пути не сойдет. — говорил Василий Дорофеевич.

Недалеко от Ломоносовых жил пожилой грамотный крестьянин Христофор Дудин. Он приторговывал и имел изрядный достаток. Среди прочего добра у него были и книги.

У Дудина Михайло Ломоносов увидел две совсем особенные книжки. Они несколько не походили на те, которые он видел до сих пор.

На заглавном листе одной из них был замысловатый рисунок. Высокие круглые столбы с лепестками сверху — колонны — поддерживали крышу с лепными украшениями. Между колоннами виднелась арка, а перед ней сидела молодая и прекрасная женщина в причудливом одеянии. На нижнем полукруге была надпись: «Счисление», а на других — названия разных наук. Над головой женщины было напечатано: «Арифметика».

Под рисунком стояло:

«Что есть арифметика».

Арифметика, или числительница, есть искусство, честное и независтливое и всем удобопонятное и многохвалнейшее, от древнейших же и новейших, в разное время явившихся, изряднейших арифметиков изобретенное и изложенное».

Хотя об арифметике говорилось, что она удобопонятна, однако Михайло не вполне понял, что это за наука.

— Арифметика всякому счету учит. Она многим наукам ключ, — пояснил Дудин.

Другая книга была еще непонятнее. Она называлась «Грамматика словенская».

— «Грамматика есть искусство, благо глаголати и писати учащее», — прочитал Михайло.

Художеством в то время называлось всякое искусство и умение.

— «Добро говорить и писать учащее...» — перевел Михайло славянскую фразу. — Мы что же, без сей книги добро говорить не можем, что ли? — сказал он недоумевая.

Ему очень захотелось взять обе книги и прочитать их дома. Но Дудин был человек скуповатый и бережливый. Книги свои он тоже берег и не любил давать другим.

— И не проси, — сказал он Михайлу.

У Дудина было три сына. Михайло и раньше был с ними дружен, теперь он подружился еще больше. Он желал получить книги во что бы то ни стало. И в конце концов ему удалось добиться своего: сыновья Дудина достали для него заветные книги.

Михайло прежде всего взялся за «Арифметику».

На другой стороне заглавного листа он прочитал нескладные стихи, объяснявшие пользу арифметики:

Арифметике любезно учися,
В ней разных правил и штук придержиися,
Ибо в гражданстве и к делам есть потребна,
Лечи твой разум, аще мыслит предно.
Та — путь в небе и на море,
Еще на войне полезна и в поле.

Составитель призывал учиться арифметике любезно, то есть охотно и с удовольствием, исправляя ее помощью свой разум, если он мыслит плохо. Оказалось, однако, что книга написана не очень ясно. Арифметические правила были изложены длинными и трудными фразами. Часто приходилось долго думать, прежде чем удавалось понять, в чем дело.

«Точно твердый орех грызешь. Пока скорлупу не разгрызешь, до зерна не доберешься», думал Михайло.

Это чтение было для него не развлечением, а работой.

Когда на море ему приходилось грести, борясь с волнами, он всегда чувствовал: чем труднее, тем более крепнет упорство. Он испытывал особенное удовольствие, преодолевая препятствия. Так и теперь он упорно старался понять трудные места.

Зато каждый раз, читая эту книгу, он узнавал что-нибудь новое.

Книга учила не только складывать и вычитать, умножать



Рисунок из книги «Арифметика» Леонтия Магницкого. М. 1703 г.

и делить. Она давала самые разнообразные знания. Из нее Михайло узнал, будто небо состоит из нескольких вращающихся кругов, вместе с которыми движутся и звезды.

Михайло подолгу всматривался в рисунок, помещенный в самом начале книги. На нем были изображены два человека в причудливых одеждах. Один держит в левой руке книгу и весы, а в правой — лист, исписанный цифрами. Около его ног стоят ящичек и кульки, лежат деньги — может быть, потому, что в учебнике между прочим давались сведения о мерах весов, сыпучих тел и деньгах разных стран, а может быть, оттого, что арифметика восхвалялась как наука, пужная купцу. Другой держит в правой руке небесный глобус, показывающий движение планет и звезд. У ног этого человека нарисован земной шар и на нем корабль, а в левой руке он держит лист с геометрическими формулами.

Это были знаменитые математики древней Греции Пифагор и Архимед — первые ученые, о которых узнал Михайло Ломоносов.

Книга рассказывала о том, как математика помогает измерять землю и находить путь в море.

«Всяк, усердствуя, может во всяких случаях недоумение в числах разрешить, насмотрясь заданий в нашем собрании», читал Михайло.

В арифметических примерах упоминались далекие иностранные города, о которых раньше Михайло не слышал ничего, и сообщалось, на каком расстоянии они находятся друг от друга.

Михайло чувствовал себя так, как если бы вдруг увидел, что за тем миром, в котором он живет, находится другой, гораздо больший, неведомый и бесконечно интересный.

Другая книга, «Грамматика словенская», тоже принесла ряд открытий.

Раньше Михайлу никогда не приходила мысль, что слова в разговоре соединяются и изменяются по особым правилам и законам.

Оказалось, что даже звуки, из которых состоит слово, делятся на два разряда: гласные и согласные. О гласных говорилось:

«Самогласные еще нарицаются, зане сами собою глас издают».

Михайло произносил гласные — а-а-а, о-о-о, е-е-е — и убеждался: они действительно звучали сами по себе.

«Нарицаются согласные, яко не сами по себе, но со гласными слог составляют и глас издают», читал он дальше.

Он пробовал проверить: б, в, г легко произносились в

самом деле только с гласными. Сказать б, в, г было трудно, бе, ве, ге — легко.

Потом в книге объяснялось, как из отдельных звуков составляются слога, а из слогов — слова. Согласная буква не могла одна составить слог, а гласная могла.

Михайло повторял пример:

— «У-по-вах».

Знакомое уже ему славянское слово «уповах» — «надеялся», — оказывается, имело свое устройство.

Эта книга была, пожалуй, еще труднее, чем «Арифметика». Он не раз перечитывал отдельные места, пытаясь добраться до их смысла.

А мачеха твердила его отцу:

— Михайло-то все за книгами попусту сидит. От дела отбивается.

Василий Дорофеевич начал сердиться.

Михайло стал уходить с книгами из избы. Он выбрал укромное местечко во дворе, где можно было читать, не попадаясь на глаза мачехе.

Здесь он раскрывал «Арифметику» и старался решить очередную задачу:

«Един корабль плыл морем от града во иной град на всякий час по 9 миль. Егда он отплыл 45 миль, тогда другой корабль от того же места поплыл тем же путем и плыл 12 миль на всякий час. Надобно знать, во сколько часов сей корабль настигнет первый и во скольких милях».

Правила решения таких задач приводились тут же. Но следовало произвести вычисления. Делать их в уме было трудно, а писать на дворе неудобно. В морозные же дни здесь целыи было не только писать, но и читать.

Между тем книги эти были хотя и неслетки, но по-особенному привлекательны. Читая их, каждый раз приходилось напряженно думать. Часто удавалось понять неясное сперва место, но тут же возникали новые вопросы о том, чего в книге уже не было.

Михайло чувствовал себя так, точно попал на тропинку, то исчезающую, то появляющуюся вновь и уходящую вдаль... С каждым шагом открывалось новое, и росло желание продолжать путь.

Василий Дорофеевич тревожился. Ему все больше и больше нужен был надежный помощник-сын, а Михайло не отставал от книг.

— Пора женить парня, — решил Василий Дорофеевич.

Он начал присматривать невесту для сына в соседних деревнях и в богатом селе Матигорах, вблизи Холмогор.

Михайло Ломоносов понимал: когда его женят, само собой случится так, что придется бросить книги.

Он продолжал жить как будто в двух мирах. Один мир был хорошо известен: изба, деревня, река, море. В этом мире были рыбные промыслы, отцовское судно «Чайка», сети и невода. В этом мире жил его отец и будет жить он сам, когда заведет семью и станет прежде всего заботиться о своем хозяйстве.

Другой мир был тот, который стал перед ним открываться, когда он начал читать и понимать.

Читая в «Арифметике», как движутся небесные круги, он чувствовал себя в этом другом мире.

Холмогоры и Архангельск, Мезень и Кола были в одном мире, а неведомые города и страны, названия которых встречались в «Арифметике», в другом.

И когда, читая грамматику, он старался понять, что такое части речи и как изменяется слово по падежам, он тоже как будто вступал в этот другой мир.

Раньше он склонял слова, сам того не зная, в каждом разговоре, но только теперь перед ним открывались законы, по которым строится человеческая речь.

Второй мир помогал понять первый, в котором жили все. Думать, понимать, узнавать было интересно и радостно. И он чувствовал, что от этого второго, нового для него мира не откажется без борьбы.

Когда отец заговаривал о женитьбе, Михайло молчал.

А потом упорно думал: «Как быть?»

Ему казалось, будто он стоит на перепутье. Дорога, по которой он шел до сих пор, разделилась на две.

Одна была широка и хорошо известна. По ней шли все.

Другая, узенькая, неясная, уходила в неведомую даль. Это была та самая тропинка, на которую он попал, начав читать книги, взятые у Христофора Дудина.

В такие минуты он думал о том, что надо уйти из своей деревни туда, где есть ученые люди, которые могут все объяснить. «Арифметика» Леонтия Магницкого подсказывала, как это можно сделать.

Эта книга была напечатана в царствование Петра Великого, и, по обычаю того времени, в ее предисловии восхвалялся государь. Составитель «Арифметики» писал, что царь учредил училища, в которых преподаются математика и разные другие науки, «украшающие человека». Туда принимаются люди всех сословий.

«Повеле от всякого чина своего государства добровольно приходящих людей учить, довольствуя и питая своею госу-

даревою казною, яко же злое непотребное неведские скоро в нашей земле истребятся», писал Магницкий.

«Арифметика» была напечатана в Москве. Там были и эти школы. И Михайло стал все чаще и все упорнее думать о том, что надо идти учиться в Москву.

Михайло хорошо знал: когда к осени у молодой птицы крепнут крылья и набирается сила, ее неудержимо тянет лететь. Она чувствует как будто какую-то тревогу — поднимается в воздух, подолгу кружит над родными местами и наконец летит вдаль.

Такое чувство испытывал теперь и он сам. Когда он раздумывал, как дальше учиться, его тянуло в путь.

Каждую зиму из Холмогор выходили обозы с мороженой рыбой в Москву. Михайло знал людей, которые ездили в Москву продавать рыбу.

И постепенно у него сложилось решение уехать с ними.

Однако сделать это было нелегко.

В Архангельской губернии не было ни помещиков, ни крепостных. Но крестьяне не могли распоряжаться собой по своему усмотрению: они принадлежали государству.

Каждый крестьянин ежегодно платил особую подать — подушный оклад. Если он хотел уехать из деревни, то должен был представить поручителей, которые обязывались платить за него подушный оклад во время его отсутствия. Когда он уходил тайком, его подать раскладывалась на всех крестьян деревни.

Беглец становился «гулящим человеком». А гулящего человека можно было поймать и отдать в солдаты.

Михайло знал: найти в деревне за себя поручителя так, чтобы не узнал отец, невозможно. Уходить тайком не хотелось.

Восьмого ноября 1730 года Михайлу исполнилось девятнадцать лет. В этом возрасте крестьяне обычно уже женились. Откладывать уход в Москву дольше было нельзя. Михайло решил переговорить с отцом.

Василий Дорофеевич не сразу его понял.

— Какого еще тебе ученья надобно? В подьячие, что ли, собираешься? Легкой жизни захотел? — спросил он сурово.

Подьячими в деревне назывались все служившие в канцеляриях и приказах, от писца до значительного чиновника. Крестьяне боялись их, но не уважали.

— В подьячие не пойду, — ответил Михайло.

Василий Дорофеевич долго говорил с сыном и долго думал. Он знал, что Михайло упорен. Раз задумал уйти, его

не своротишь. Если не пустить, уйдет сам. Тогда, пожалуй, назад не вернется.

«И пускать нельзя и не пускать нельзя», думал Василий Дорофеевич.

Он решил не мешать сыну, но и не снабжать его деньгами для жизни в городе.

Михайло стал искать поручителя и собираться в путь.

Вскоре в волостной книге была сделана запись:

«1730 года, декабря 7 дня, отпущен Михайло Васильев Ломоносов к Москве и к морю до сентября месяца предбудущего 1731 года, а порукой по нем в платеже подушных денег Иван Банев росписался».

Нельзя было пускаться в путь, не имея ни копейки. Помог Иван Афанасьевич Шубной: дал три рубля. Это было немного, но и не так уж мало. Плотник или матрос зарабатывали тогда в Архангельске полтора-два рубля ежемесячно, а три рубля в месяц получал опытный кормщик. Но долго жить в Москве на такие деньги было невозможно.

Через несколько дней Михайло выехал из Холмогор с рыбным обозом.

«Поживет в городе, узнает: дома-то кусок хлеба легче достается. Дом у нас, слава богу, не последний в деревне. Посмотрит Москву да вернется», утешал себя Василий Дорофеевич.

Вероятно, и сам Михайло Ломоносов не думал, что назад не вернется никогда.

В школе

Обоз с мороженой рыбой шел из Холмогор в Москву около трех недель. В конце декабря подошли к Москве.

Но как въехали в город, Михайло Ломоносов не заметил.

— Скоро Москва, — сказал один из возчиков после долгого пути.

Тянулась какая-то большая деревня. За высокими заборами стояли избы. Во дворах были видны амбары и стойла для коров и лошадей, а за дворами — небольшие огороды, занесенные снегом.

— А когда же будет Москва? — спросил Ломоносов.

— Да она уже началась, — ответили ему.

Вскоре подъехали к высокому и широкому валу, преграждавшему дорогу и тянувшемуся направо и налево, насколько хватал глаз. Старинные широкие ворота с каменными пристройками вели через вал, а над воротами



Въезд в Москву.

С картины А. Васнецова.

В конце улицы видны стена Белого города и Мясницкие ворота.

возвышалась большая двухэтажная каменная башня с часами на стене.

— Земляной вал. Сухарева башня, — сказал Ломоносову знавший Москву возчик.

— Докуда же сей вал тянется? — спросил Ломоносов.

— Кругом Москвы. Верст с пятнадцать будет, — ответил возчик.

Когда проскали через ворота, началась улица Сретенка, уже отличавшаяся от деревенской. На ней тоже встречались бревенчатые избы, как будто перенесенные сюда прямо из села, но рядом с ними уже стояли каменные дома.

Сретенка скоро кончилась. Впереди опять была преграда — на этот раз не земляной вал, а старинная каменная белая стена с башнями и бойницами, когда-то защищавшая город от врагов, а теперь уже обветшавшая и начавшая разрушаться. Проехать за эту стену можно было только воротами, которые были проделаны в стене там, где к ней подходили большие улицы.

У ворот стоял караульный в нагольном тулупе и валенках, с алебардой в руках.

— Сретенские ворота, — пояснил возчик. — Таких ворот десять: Мясницкие, Покровские, Никитские и прочие. Ночью здесь так не пройдешь: ворота заперты. Сторожа обыщут и ежели пропустят, то не даром.

За Сретенскими воротами, на Лубянке, уже часто встречались большие каменные барские дома с обширными дворами, со служебными пристройками для дворни, каретными сараями, конюшнями, погребами. Но и около этих зданий можно было нередко увидеть обширный пустырь, не застроенный после пожара, или маленький деревянный домик.

Выехав на Лубянскую площадь, опять увидели белые стены толщиной в две-три сажени, тоже с бойницами и башнями. Эти стены охватывали улицы: Ильинку, Никольскую, Варварку, проходившие через торговую часть Москвы — Китай-город.

Дальше проехали мимо Китайгородской стены через речку Неглинку с прудами, по льду которых катались на санках мальчишки. Около Воскресенских ворот, которые вели на Красную площадь, виднелись высокие зубчатые стены Кремля, а за ними — стройная колокольня Ивана Великого и золоченые купола церквей.

Когда вечером этого дня Ломоносов захотел представить себе Москву, то он не смог ее вспомнить как единый город. Перед глазами вставали бревенчатые избы и большие каменные здания, выкрашенные в белую, голубую, зеленую или

желтую краску, старинные крепостные стены с бойницами, пустыри и мельницы посреди города, а недалеко от них башни Кремля.

В Москве у Ломоносова нашелся земляк, холмогорец Пятухин. Ломоносов заехал к нему с тем, чтобы прожить несколько дней и тем временем осмотреться.

Пятухин давно служил в Москве приказчиком и хорошо знал город. Когда Ломоносов рассказал, что хотел бы в Москве остаться учиться, Пятухин сказал:

— Московские жители и те большей частью учат ребят, примерно как у нас в Холмогорах: отдадут сына приходскому дьячку, дабы читать да писать научил, и довольно. Купцы побогаче иной раз еще отставного подьячего нанимают цифири учить. Ну, а самые знатные господа, те иноземцев в дом берут детей чужим языкам учить, да тащивать, да на шпагах биться.

— А разве училищ нет? — с удивлением спросил Ломоносов, вспоминая предисловие к «Арифметике» Магницкого.

— В Сухаревой башне есть школа. Дворяне туда сыновей посылают поневоле, опасаясь штрафа. А иные и сами ребят отдают. Да, слышно, ученики частенько убегают. За побеги бьют их батогами нещадно. Да еще есть школа при Заиконоспасском монастыре. Но и оттуда бегут ученики, — ответил Пятухин.

Ломоносов пошел к Сухаревой башне и потолковал с выходившими оттуда учениками. Потом побывал и в школе, чтобы получить о ней разузнать.

Оказалось, что школа была открыта лет тридцать тому назад по приказу царя Петра. Царь называл ее «Школой математических и навигацких наук» и велел готовить флотских командиров. Но потом обучение мореплаванию перенесли в Петербург. Школа стала хиреть.

— Три-четыре года учимся арифметике да геометрии. Потом дворянских сыновей отсылают в Санкт-Петербург в Морскую академию, а прочих — по разным канцеляриям. И служи всю жизнь, на счетах щелкай, — говорили ученики.

Учиться в этой школе Ломоносову не захотелось.

Другая школа находилась на шумной торговой Никольской улице между Красной и Лубянской площадями. Здесь был монастырь, который называли Заиконоспасским, потому что он стоял за торговым рядом, где продавали иконы.

В конце дня прохожие слышали, как из-за монастырской стены доносились короткие удары в маленький колокол. Вслед за тем на улицу выбегали гурьбой подростки, потом



Сухарева башня.
С гравюры Аркадьева.

выходили юноши и молодые люди двадцати трех — двадцати четырех лет. У некоторых из кармана тулупа виднелись свернутая в трубку бумага и пучок гусиных перьев. Подростки озорничали, толкая друг друга в сугробы снега, а поссорившись, перебранивались не только по-русски, но и по-латыни:

— Стульгус! Дурень!

— Аэинус! Осел!

Нетрудно было догадаться, что это школьники.

В праздничные дни к Пятухину иногда приходил в гости знакомый монах из Заиконоспасского монастыря. Ломоносов

подробно расспросил его об этой школе. У нее оказалось длинное и трудное название: Славяно-греко-латинская академия. Но обычно говорили просто: Спасские школы.

Школу основали, чтобы давать образование духовенству. Однако церковники очень неохотно отдавали туда детей: учиться надо было больше десяти лет, и только последние четыре года проходили богословие.

— Учатся человек двести пятьдесят, а поповских и дяконовских детей меньше третьей части. Попы говорят: «Зачем моему сыну десять лет с лишним в школе сидеть да латинский язык, грамматику и прочие науки изучать? Церковную службу наизусть можно и дома в год-полтора вытвердить». Солдатских сыновей и то гораздо больше в школах, нежели поповских, — рассказывал монах.

— А мне позволили бы в сих школах учиться? — спросил Михайло.

— Крестьянских сыновей принимать запрещено особым указом. Однако попасть возможно, ежели схитрить, — сказал собеседник.

Оказалось, что утверждение «Арифметики» Магницкого, будто в училища принимают людей «всякого чина», уже устарело. Два года тому назад в Спасских школах был полу-

чен указ: крестьянских сыновей исключить и впредь не принимать.

Крестьяне вносили подушную подать, от которой были освобождены дворяне и чиновники. Государственная власть старалась всячески затруднить выход из крестьянского состояния, чтобы не уменьшились доходы казны. Крестьянских сыновей запрещали принимать в школу, потому что, обучившись, они не возвращались в деревню.

А между тем Славяно-греко-латинская академия нуждалась в учениках. Многолетнее обучение отпугивало и учащихся и родителей. Священников заставляли отдавать сыновей в школу даже насильно. И школьное начальство готово было принимать учеников, почти не справляясь о происхождении, лишь бы школа не опустела совсем.

Для того чтобы попасть в школу, Михайло Ломоносов решил схитрить. Он назвался сыном дворянина из города Холмогор и сказал, что хочет учиться. Его провели к ректору.

Это был еще не старый монах в черной рясе, с большим золоченым крестом. Считался он ученым потому, что многие годы изучал в Киеве латынь и богословие.

До настоящей науки ректору мало было дела, но он заботился, чтобы школа не пришла в упадок, и хотел быть на хорошем счету у своего духовного начальства, надеясь стать со временем архиереем. А между тем учеников удавалось набирать с трудом, и лишь немногие из них доходили до конца ученья.

Ректор с некоторым изумлением смотрел на высокого широкоплечего юношу в нагольном тулупе, захотевшего поступить в школу, где обычно начинали учиться в двенадцать-тринадцать лет.

Прямо смотря в лицо ректору упорным взглядом больших серых глаз, Михайло Ломоносов спокойно и твердо заговорил о желании учиться. Ректор задал ему несколько вопросов. Оказалось, что он хорошо читает и пишет, знает «Арифметику» Магницкого и немного славянскую грамматику.

— Уповаю, что премудрости наук не убоишься, — сказал ректор.

Таких учеников в Славяно-греко-латинской академии было не много. Ректор не стал требовать от Ломоносова документов о происхождении и приказал записать его в школу.

На следующий день Ломоносов пришел в класс перед самым началом урока.

В большой мрачной комнате с каменными сводами стоя-

ли в несколько рядов длинные столы и скамьи. Ученики в сермяжных кафтанах и стоптанных, заплатанных башмаках рассаживались по местам.

Учитель, монах в такой же черной рясе, как ректор, но с серебряным, а не золоченым крестом на груди, сразу заметил нового ученика.

— Ни единого латинского слова не ведаешь? — спросил он Ломоносова и добавил: — Ступай на заднюю скамью.

Учеников рассаживали по успехам: лучшие сидели на первой скамье, невежды и лентяи — на последней. Когда ученик начинал учиться лучше, его пересаживали вперед. Но большинство обитателей последней скамьи и не собиралось продвигаться. Это были второгодники и третьегодники, которые находили, что сидеть подальше от учителя гораздо удобнее.

И нередко после урока, едва учитель выходил из класса, в заднем ряду раздавался возглас, протяжный, как в церкви: — Бла-а-жен-ны на-ро-о-ды, на-ук не ве-е-даю-у-щие!

А другой ученик в том же ряду отвечал, подражая дьякону:

— И ны-ы-не, и при-и-сно, и во ве-е-ки ве-е-ков...

В первые дни подростки окружали Ломоносова после уроков и, пересмеиваясь, говорили:

— Смотрите, какой болван лет в двадцать пришел латыни учиться!

Ломоносов мог легко прекратить насмешки. У него были широкие плечи и тяжелые кулаки, он был смел и не боялся бы один выйти на драку против трех или четырех парней его возраста. Подростков он мог разбросать, как котят. Когда в минуту гнева темнели его глаза и сдвигались брови, все спешили отойти подальше.

Но школьники вскоре сами прекратили насмешки, и не только потому, что такие шутки могли кончиться плохо: Ломоносов начал учиться так, что удивил товарищей.

Основным предметом был латинский язык. Школьники изучали его неохотно. Учителя старались поощрять их обычным в то время способом — розгами. Даже в букварях печатались стихи:

Розга ум вострит, память возбуждает
И волю злую к благу прелагает.

Учеников с задней скамьи секли часто. Учителя наказывали их за каждый плохой ответ и жаловались префекту, как называли инспектора школы.

Префект следил за поведением учеников, и власть его



В школе.
С рисунка первой половины XVIII века.

была так велика, что даже в школьном уставе пришлось сделать оговорку:

«Презфект должен быть не вельми свиреп и не меланхолик».

Презфект выслушивал жалобы учителей и отвечал:

— За должность мою почитаю драть их почаще.

— Да их хоть каждый день дери, они себе того в зазор не ставят, — говорили учителя.

На последней скамье шла своя жизнь. Здесь постоянно придумывали развлечения, которыми можно занять себя во время урока, но так, чтобы учитель ничего не заметил. А потом хвалились своими проделками.

Новый ученик на задней скамье во время урока не обращал внимания на озорство соседей. Он вслушивался в каждое слово учителя.

Михайлу Ломоносову приходилось уже слышать, что на латинском языке написаны книги, без которых тогда не мог обойтись ни один образованный человек. Но он

стал охотно изучать латинский язык не только по этой причине.

В первый день, слушая учителя, он целый час почти ничего не понимал. Потом как-то догадался, что странное слово «капут», которое несколько раз повторил учитель, значит «голова».

И вдруг обрадовался.

Это была та самая радость, которую он впервые пережил, когда понял, как из отдельных букв складывается слово. Каждый раз, когда ему удавалось узнать и понять новое, он испытывал это знакомое чувство особого удовольствия.

К концу первого дня он уже знал несколько латинских слов. Он повторял их про себя, как будто пересчитывая свое приобретение. А через несколько дней с торжеством составил первую маленькую латинскую фразу.

Учитель пересадил его с последней скамьи на предпоследнюю. И на ней он просидел недолго.

В трех младших классах учили читать и писать по-латыни.

В первом классе знакомились с латинской азбукой и учились писать латинские слова.

Во втором классе ученики узнавали первые правила славянско-русской и латинской грамматики.

В третьем классе продолжали учить латинскую грамматику, занимались немного арифметикой и начинали изучать вероучение православной церкви.

В каждом классе учились обычно год. А Михайло Ломоносов в один год прошел все три класса. Теперь он уже не так сильно отличался по возрасту от некоторых школьников.

— Михайло-то как шагнул! Не в фискалы ли записался? — говорили первые ученики младших классов, оставшиеся позади.

Должность фискала была установлена в каждом классе. Префект сам назначал на нее учеников. Фискал обязан был докладывать начальству о проступках других школьников. За недонесение его секли вместе с провинившимся, а за доносы подчас колотили товарищи.

Кроме фискалов явных, были и тайные. Они должны были доносить исподтишка. Начальство поощряло их усердие и нередко таким образом невольно подводило: товарищи скоро замечали, к кому благоволит начальство, и при случае били жестоко.

Ломоносов, однако, меньше всего походил на фискала.

— Михайло напрямик идет. Трудом и напором берет, а



Красная площадь в середине XVIII века.
С. Иванов по Вильму.

не пролазом, — говорили те, кто познакомился с ним поближе.

Ученье давалось ему легко, но жить приходилось впроголодь.

Раз в месяц ученики являлись к школьному казначею. Казначей доставал тяжелый мешок с медными деньгами и отсчитывал каждому девяносто копеек. На эти деньги нужно было жить целый месяц, кормиться и одеваться. Многим приходилось платить и за квартиру. Ученики, не имевшие семьи в Москве, нанимали обычно копеек за двадцать в месяц угол, с тем чтобы оказывать хозяевам кое-какие мелкие услуги: рубить дрова, приносить воду, убирать двор.

И Михайло Ломоносов тоже снял угол у одного подьячего, служившего в сыском приказе.

«Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как за денежку хлеба и за денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды», вспоминал впоследствии Михайло Ломоносов.

А школа, как нарочно, находилась в таком месте, вблизи которого торговали самыми соблазнительными вещами.

От Красной площади до Лубянской шла торговая часть города, и здесь можно было купить все, начиная от лакомств и кончая жемчугами.

Между Никольской, Ильинкой и Варваркой тянулись рядами лавки. Здесь были и овощной, и мясной, и рыбный, и шапошный, и сапожный, и даже серебряный и кружевной ряды. Между ними ютились харчевни, а на углах улиц стояли кадки с квасом. Но особенно тянуло полуголодных учеников в тот ряд, самое название которого звучало заманчиво: обжорный ряд.

Над рядами стоял глухой гул от говора толпы. Около рядов на каждом шагу встречались винные погреба и кабаки. По пути в школу Ломоносов и его товарищи слышали, как из кабака доносилась пьяная песня:

Уж как нет меня, хмелюшки, лучше,
Хмелевой моей головушки веселее.
Еще царь-государь меня знает,
Князя и бояре почитают,
Священники-попы благословляют...

У дверей кабаков в уличной грязи постоянно валялись пьяницы. Часто подвыпившие гуляки дрались друг с другом. А в песне хмель похвалялся:

Уж как тут-то я, хмель, догадался,
Из котла я вон подымался,
Не в одном я мужике разыгрался.

Я бросал их о тын головами,
А в скотский помет бородами.

И хотя вид пьяных был отвратителен, все же многие ученики Славяно-греко-латинской академии сами заходили в кабаки.

«Частые оказии находят на очи, похищают мысли молодых человек и прилежать к учению не допускают», писал ректор своему духовному начальству, ходатайствуя о переводе школы в другое место.

И Михайло Ломоносов сам вспоминал впоследствии:

«Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодолимую силу имели».

В весенние и летние месяцы высиживать целые дни в классе, слушая однообразные уроки учителей, было особенно трудно.

Иногда в теплый майский день учитель приказывал открыть окно в классе. И тогда с улицы слышались выкрики продавцов.

Положив перед собой латинскую книгу, учитель начинал:
— Преславный пиит Горацій говорит...

— Сбитень, сбитень, вкусный сбитень! Кому продам хороший сбитень? — доносился голос с улицы.

Все головы поворачивались к окошку. Продавец горячего напитка со связкой баранок и чайником в руке оказывался красноречивее, чем поэт Горацій.

Учебный год длился долго. Ученики иногда не выдерживали. В жаркий июльский день они собирались толпой во дворе у домика, в котором жил ректор. Вперед выходили певцы и хором, нараспев зывали к ректору полатыни:

— Достопочтеннейший господин ректор, отдыха просим!

Открывалось окошко, и показывался ректор. Если он был в хорошем настроении, то говорил:

— В рассуждении жары отпущу вас на день погулять в лесах за городом. Сие и здравию полезно и скуку отгоняет. Токмо ведите себя пристойно.

Но бывало и так, что ректор оказывался не в духе.



Сбитенщик.

Со старинной гравюры.

Тогда он отыскивал глазами в толпе учеников заведомого лентяя и вызывал его вперед.

— От безделья отдохнуть захотелось? Надоело всякую субботу за дурное учение да непорядочные поступки под лозу ложиться? — спрашивал ректор.

И добавлял:

— Так ты отдохни. Поучись поприлежней.

Потом, обращаясь к столпившимся ученикам, говорил:

— Ступайте. И ежели другой раз явитесь, скажу отцу префекту, дабы заводчиков сыскал и высек в пример прочим.

На август учеников распускали. Ломоносов не решался поехать домой. Деньги на дорогу можно было бы достать у живших в Москве земляков, но он знал, что второй раз уйти из деревни уже не удастся и ученью настанет конец. Приходилось оставаться в Москве.

Через год после поступления в школу Ломоносов уже перешел в четвертый класс, который назывался «синтаксима», потому что там главным образом изучали латинский синтаксис. А еще через год он стал учеником пятого класса, называвшегося «пиитика».

Здесь читали и разбирали произведения латинских поэтов — «пиитов», как говорили в то время. Учитель объяснял правила, по которым слагались латинские стихи. Потом эти же правила прилагались к русскому языку. Ученики складывали вирши. Получались тяжеловесные, скучные, неуклюжие стихи. Но Ломоносов все-таки слушал учителя с увлечением. Он всегда любил смотреть и вникать, как делаются новые вещи. А теперь оказалось: самые обыкновенные слова можно расположить так, что получится новое произведение. И он сам написал стихи:

Услыхали мухи
Медовые духи,
Прилетевши, сели,
В радости запели.
Едва стали ясти,
Попали в напасти,
Увязли бо ноги.
— Ах, — плачут убоги, —
Меду полизали,
А сами пропали.

Учитель поставил отметку по-латыни: «Pulchre».

Это значило: «Прекрасно».

На следующий год поэзию сменило ораторское искусство — риторика. Учитель риторики Порфирий Крайский сам

окончил Славяно-греко-латинскую академию. Учился он не блестяще и просидел в школе целых семнадцать лет.

Но латинский учебник риторики, по которому обучали тогда в Москве и в Киеве, он выучил почти наизусть.

Учитель диктовал правила: как надлежит передавать аудитории свои чувства, как овладевать вниманием слушателей.

Выпятив грудь, высоко подняв голову и протянув вперед правую руку, он выкрикивал по-латыни первую фразу знаменитой речи Цицерона против Катилины, готовившего восстание в Риме.

И потом переводил ее по-русски:

— «Долго ли будешь ты, о Катилина, во зло употреблять терпение наше?»

А когда учитель уходил из класса, на его месте появлялся ученик Чадов, задира и насмешник.

Он выпячивал живот, запрокидывал назад голову и, подняв кверху правую руку, выкрикивал таким же, как у учителя, голосом:

— Долго ли будешь ты, о Порфирий, во зло употреблять терпение наше?

Класс хохотал в ответ.

Михайло Ломоносов сам умел при случае подшутить остро и зло. Над учителем риторики он смеялся вместе с другими. На уроках же с интересом записывал по-латыни каждое правило:

«Как построить доказательства так, чтобы убедить сомневающихся».

«Как в разное время великие ораторы убеждали слушателей».

В учебнике риторики, по которому диктовал учитель, давались обстоятельные ответы на эти вопросы. Ломоносов охотно их записывал.

— У тебя голова, точно у бережливого человека кладовая: что ни находишь по пути, все подбираешь да по полочкам раскладываешь, — говорили ему товарищи.

Михайло отшучивался, но не возражал.

Однако чем дальше он учился, тем больше чувствовал какое-то неудовлетворение. Он изучал латинский язык, но ему хотелось знать и многое другое:

Отчего бывают молния и гром?

Каковы вблизи Солнце и звезды?

Велика ли Земля?

Об этом никогда не говорилось в классе. А если он задавал такой вопрос учителю, то получал ответ:

— Дойдешь до философии, узнаешь.

Пройдя риторику, Ломоносов перешел в философский класс.

Учитель философии был таков же, как и учитель риторики. На первом уроке он объявил:

— В учении своем следовать будем преславному древнему греческому философу Аристотелю. Впрочем, будем остерегаться всякого мудрования, несогласного со словом божиим.

В философию входила и физика, под которой разумелись все естественные науки.

— Сколь велико число небес? — спрашивал учитель и сам же отвечал: — Три.

Потом приводил несколько латинских цитат и пояснял:

— Первое небо — планетное: по нему планеты движутся. Второе небо — звездное: на нем звезды утверждены. А третье небо — эмпирейское: там святые живут; посему оно — престол блаженных. Сие небо твердое, ибо святым подобает быть в месте покойном и недвижимом.

Коперник уже давно доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Но в Спасских школах попрежнему учили:

«Земля посредине мира почивает неподвижно».

А говоря о Копернике, повторяли поговорку:

«Проклятый Коперник — богу соперник».

Некоторые книги, излагавшие учение Коперника, были изданы в России при Петре I, и в Москве нетрудно было их достать.

Скоро Ломоносов понял: на уроках философии он не получит ответа на свои вопросы.

И вдруг ему стало нестерпимо скучно. В прошлом году, обучаясь риторике, он с удовольствием читал речи Цицерона.

Теперь ему казалось, что, записывая многословные рассуждения учителя на уроках философии, он точно носит воду решетом.

Собираясь в школу после воскресенья, Ломоносов с досадой представлял себе заранее, как начнется школьный день.

Прозвучат удары в школьный колокол. В класс войдет учитель Антоний Кучинский, которого между собой ученики называли обычно «Философ».

Потом всем классом нараспев прочтут молитву перед ученьем. Учитель вытащит из широкого кармана пожелтевшую рукопись, и начнется то же, что было третьего дня и будет завтра:

— Аристотель говорит...

— Святой Иоанн Златоуст говорит...

— Великий ученостью римский сочинитель Плиний говорит...

— В свящепном писании сказано...

А ученики будут, не слушая учителя, развлекаться какой-либо игрой, разговаривать друг с другом или от скуки вырезать на столе перочинным ножом замысловатый узор, за который рано или поздно придется лечь под розги.

Михайло Ломоносов труднее всего переносил безделье. И, поняв, что в этом классе ему нечего делать, он испытывал уже знакомое чувство. Опять, как почти пять лет тому назад в Денисовке, его потянуло уйти, увидеть новые края и новых людей.

В это время до Ломоносова дошел слух: набирают людей для экспедиции в далекий и малоизвестный край.

На восток от Самары к Уралу тянулись тогда необозримые степи, пересекавшиеся реками, кишевшими рыбой. По берегам рек местами росли еще не тронутые человеком прекрасные леса. В степях кочевали со своими табунами почти независимые от России башкиры, и только кое-где строили свои деревеньки русские переселенцы.

Русское правительство хотело закрепить за собой власть в этом богатом крае. Под начальством Ивана Кирилловича Кириллова, человека образованного, многие годы собиравшего карты и материалы для атласа и описания Российского государства, послана была большая полувоенная экспедиция. На берегу реки Ори, вблизи Урала, Кириллов заложил крепость и город Оренбург.

По имени этого города и всю экспедицию стали называть Оренбургской. Для Оренбургской экспедиции требовались разные служащие, до «ученого попа» включительно.

Михайло Ломоносов решил поступить на службу при экспедиции. Для этого пришлось написать прошение и сообщить о себе подробные сведения.

Ломоносов не решился сказать, что отец его крестьянин: тогда пришлось бы показать отпускное свидетельство из своей волости. Но там было сказано ясно:

«Отпущен... до сентября предбудущего 1731 года». А теперь шел уже 1735 год.

Ломоносов опять пошел на хитрость. На этот раз он назвался поповским сыном.

Через несколько дней его позвали к ректору.

Ректор, Стефан Прибылович, был украинец. Окончив Киевскую духовную академию, он любил показать свою ученость, украшая речь по всем правилам риторики.

Это был человек изворотливый, хитрый и честолюбивый. Ему хотелось показать, что школа делает большие успехи под его руководством, а он замечал, что лучшие ученики, научившись латыни, обычно старались уйти из школы.

Ректор получал указы:

«Отпустить трех достойнейших учеников в иностранную коллегию для определения их в переводчики».

«Отослать таких-то учеников, латынь довольно знающих, в московский госпиталь обучаться лекарской науке».

Ректор говорил с досадой префекту:

— Самые сливки у нас снимают! Ежели навестит нас какой-либо ученый гость из Киева, десяти человек не найдем, успехами коих похвалиться смогли бы. Срам!

Получив приказание явиться к ректору, Ломоносов подумал:

«Отчитывать начнет: опять-де изрядный ученик школу бросить задумал. А как ему сказать: всей душой рад бы учиться, да переливать из пустого в порожнее не хочу!»

Но вышло иначе.

— Прощение твое переслано нам для справки. А по справке оказалось: назвался ты на сей раз поповским сыном, а когда в школу поступал — дворянским. Полагаю, что солгал дважды, — сказал ректор.

И, повысив голос, добавил:

— Не запирайся, не поможет. В холмогорскую воеводскую канцелярию напишем: был ли-де в Холмогорах дворянский сын Ломоносов?

Ломоносов понял, что сразу может рухнуть все: его могли не только выпнуть из школы, но и судить как обманщика. А судьи даже за малые проступки нередко приговаривали к наказанию кнутом на площади.

Изворачиваться было бесполезно, и Ломоносов не стал этого делать. Он сразу понял, что надо действовать решительно и прямо.

— Каюсь: отец мой государственный крестьянин и доселе живет в деревне Денисовке под Холмогорами. Обмануть же я осмелился потому токмо, что одолело желание учиться, — сказал Ломоносов.

Ясно и просто рассказал он, как прочитал «Арифметику» и «Грамматику словенскую», а потом решил оставить отцовский дом, в котором жил, ни в чем не нуждаясь, и ушел учиться. Он не забыл упомянуть, что казна от того не потеряла нисколько убытка. Приезжавшие из Холмогор земляки рассказывали, что отец ежегодно вносит за него подушный оклад полностью. Под конец Михайло Ломоносов

сказал, что хотя и задумал уйти из школы, однако готов учиться и дальше, если разрешат ему окончить школу.

Он говорил спокойно и твердо. Ректор невольно стал вслушиваться в его слова. У Ломоносова явилось такое чувство, точно дерево, в которое он старался вбить клин, начало поддаваться.

Но когда он кончил, ректор сказал коротко:

— Мне твои успехи довольно известны. А за то, что показал о себе облыжно, надлежит тебя из школы выгнать и написать, куда следует, дабы зачислили в солдаты. Ступай!

Ломоносов уже дошел до порога, когда ректор добавил:

— А прошение свое возьми обратно и мне напиши, что просишь позволения обучаться попрежнему.

Оставшись один, ректор стал обдумывать окончательное решение.

«Надобно бы его выгнать из школы и наказать построжее в страх другим, да и так у нас изрядные ученики наперечет. Ломоносова же, ежели и знатная персона школу посетит, можно вызвать, дабы показать, сколь успешно у нас учатся. Сей ученик не смешастся и не собьется», думал ректор.

И хотя Ломоносова как крестьянского сына не следовало держать в Славяно-греко-латинской академии, ректор решил не придавать делу огласки.

А Ломоносов, вернувшись от ректора, сказал своему соседу по классной скамье:

— Я еще маленький замечал: ежели пес зубы оскалит, а ты побежишь, то непременно за ногу схватит. А пойдешь ему навстречу, прямо глядя в глаза, назад отступит. Так и сегодня: оробей я — пропал бы.

Мысль об Оренбургской экспедиции пришлось бросить.

Ломоносов обдумал другой план.

Почти все учителя Спасских школ сами обучались в Киеве. Старинную Киевскую духовную академию они любили сравнивать со знаменитыми в древности афинскими школами:

«Из Киевской академии, аки из преславных Афин, вся Россия источник мудрости получает».

Ломоносов стал думать, что в Киеве он, вероятно, смог бы научиться большему, чем в Москве. А если бы и в Киеве учили так же, то все-таки хорошо бы туда поехать, повидать новый город и новых людей.

Ломоносов решил просить у ректора разрешения на поездку в Киев.

Неизвестно, как удалось Михайлу Ломоносову получить согласие ректора. Может быть, ректору захотелось показать

Киевской академии, что в его школе есть ученики, которые не уступают киевским, а возможно, что Михайло Ломоносов обещал вернуться в Славяно-греко-латинскую академию, укрепив свои знания. Так или иначе, но его, повидимому, отпустили в Киев.

Киев оказался непохожим на Москву.

На зеленых холмах у Днепра расположились беленькие мазанки. Большие деревянные или каменные дома теснились между ними. Почти около каждой мазанки был садик с вишнями и грушами, а во многих местах росли высокие тополи.

В той части города, которую называли Подол, стоял большой дом, широко известный в Киеве под именем «бурса». Здесь жили ученики той самой школы, куда направился Ломоносов. Всех бурсаков насчитывалось около тысячи человек.

Очутившись среди них, Ломоносов как будто попал в особое племя, у которого был свой язык, свои обычаи и порядки. По школьному уставу, они должны были даже друг с другом разговаривать по-латыни. Они действительно говорили между собой ломаным латинским языком, но обычно только тогда, когда, бродя по улицам и базарам, обсуждали: «Как бы без гроша достать съестного?»

Бурсаки, так же как и московские школьники, жили впроголодь. Однако у них были свои способы добывать пропитание. На базарах и ярмарках они пели латинские церковные стихи и обходили слушателей с деревянной чашкой. С ведома начальства они завели для сбора пожертвований особую книгу — «альбум».

В праздничные дни бурсаки приходили в богатые дома, говорили поздравительные речи по всем правилам риторики и протягивали альбум хозяину.

У них были свои выборные старшины и неписанные правила поведения, которые соблюдались строже, чем настоящие законы.

Михайло Ломоносов должен был почувствовать себя чужаком среди киевских бурсаков.

Но обучали здесь почти так же, как в Москве.

— Не может быть ритор, иже философию не ведает, — говорил учитель Миткевич.

И дальше он объяснял, что риторика учит, как говорить, а философия помогает вложить в речь знание и мудрость.

Киевские учителя знали, однако, и такие латинские книги, которых не читали московские.

Но Михайло Ломоносов скоро увидал, что и в Киеве в

классе философии также прежде всего повторяют слова Аристотеля и тексты из церковных писаний.

Тогда он решил, что оставаться в Киеве незачем, и вернулся в Москву.

Он опять занял свое место на одной из первых скамеек в классе философии. Уроки были попрежнему скучны. Жить было трудно. Правда, ученики философии получали на копейку больше, чем младшие школьники: четыре, а не три копейки в день.

Но даже ректор понимал, что этого мало, и писал про учеников в своих отчетах:

«Терпят великие недостатки и скудость».

В первые годы, когда Михайло Ломоносов получал в школе новые для него знания, ученье захватывало, и легко было переносить жизнь впроголодь. Теперь это стало тяжелее.

А приезжавшие в Москву земляки напоминали, что он может жить дома, не зная нужды.

«Отец, никогда, кроме меня, детей не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство, которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят», вспоминал потом Ломоносов.

Но он все же продолжал учиться.

Между тем неожиданно произошло событие, которое повернуло его жизнь на новый путь.

В конце 1735 года в московскую Славяно-греко-латинскую академию пришел из сената указ. Сенат, которому подчинялись тогда все учреждения, предписывал ректору выбрать двадцать учеников, наиболее способных к науке. Ректор должен был сам их проэкзаменовать и отправить в Петербург для обучения при Академии наук.

— Оставляют у нас спитые дрожжи! — сказал с досадой ректор.

Однако сенатский указ нельзя было не выполнить. А поскольку ректор сам обязан был проэкзаменовать учеников, то неудобно было отправить в Петербург невежд.

Но вместо двадцати человек ректор послал только двенадцать, сославшись на то, что остальные подготовлены недостаточно. Да и в число этих двенадцати он просунул одного тупицу и одного ученика, нечистого на руку. Все же пришлось школе расстаться с самыми лучшими учениками.

«Отроки доброй надежды», написал ректор, отправляя их в Петербург.

Среди этих отроков был и двадцатичетырехлетний Михайло Ломоносов.

В первый день нового, 1736 года в Петербург въехали четыре возка, крытых рогожей. В возках сидели юноши в овчинных шубах и дешевых войлочных шапках. Старший из них, Михайло Ломоносов, с особенным интересом смотрел по сторонам.

Даже на окраинах города улицы были просторны и прямы. А когда выехали на Невскую перспективу, пересекавшую город так прямо, точно ее начертили по линейке, Ломоносов был удивлен ее шириной. Она оказалась просторнее, чем несколько больших московских улиц, взятых вместе.

В центре города по обеим сторонам улицы стояли каменные дома, нередко двухэтажные и трехэтажные, выкрашенные в разные цвета. Около многих домов были разбиты небольшие сады. Чугунные решетки отделяли их от деревянных тротуаров.

Видно было, что здесь строили не как попало. Строгий план и порядок чувствовались во всем.

Не только улицы выглядели иначе, чем в Москве. Чаще встречались изящные кареты, запряженные породистыми лошадьми. Больше было солдат и офицеров. У многих прохожих из-под шапок торчали букли париков, а из-под шуб высывался кончик шпаги. Нетрудно было заметить, что здесь гораздо больше, чем в Москве, чиновников и военных.

Пересхав Неву прямо по льду, добрались до Васильевского острова. Здание Академии наук нашли сразу: издали была видна круглая башня для астрономических наблюдений, возвышавшаяся над музеем академии — кунсткамерой. Но оказалось, что надо ехать дальше.

Наконец подъехали к дому, который Академия наук занимала для своих служащих. Надсмотрщик Шмидт, начальник всех академических сторожей, немец, плохо говоривший по-русски, явился со связкой ключей.

Он отпер большую комнату и сказал:

— Кровать есть, стул есть, стол есть. Завтра господин эконо́м Фельтен выдаст еще, что надлежит.

Мебель была самая дешевая: некрашенные деревянные кровати, такие же табуретки, по одной на каждого, стол и два грубо сколоченных шкафа.

Но ученики Спасских школ не привыкли к роскоши. Их собственные пожитки были под стать обстановке: три-четыре холщевые рубахи, старые запасные штаны из красного дешевого сукна да кафтан и войлок, зашитый в краше-



Академия наук.
С гравюры 1741 года.

ную холстину. Такой войлок служил тюфяком дома и в дороге.

Когда разложили вещи, то заметили, что печка не топлена. Михайло Ломоносов вышел в прихожую, чтобы узнать у соседей, где достать дрова.

В соседней комнате кто-то громко говорил по-немецки. Ломоносов подошел к другой двери. Оттуда послышался женский голос: спрашивали по-немецки, кто там.

Ломоносов не понял, подошел к третей двери, открыл ее и перешагнул через порог. Комната, в которую он вошел, была обставлена только немногим лучше, чем помещение, отведенное приехавшим из Москвы ученикам. На некрашеном деревянном столе стояла оловянная чернильница, лежали стопка бумаги, пучок гусиных перьев и календарь на 1736 год, только что изданный Академией наук.

За столом сидел человек средних лет, нечисто выбритый, в поношенном кафтане. Это был канцелярист Академии наук Соколов.

Он читал тоненький журнальчик, на первой странице которого было напечатано: «Примечания на «Ведомости». В Санкт-Петербурге, Генваря 1 дня 1736 года».

— Думал было, мы в немецкую землю попали: надсмотрщик — немец, одни соседи — немцы, другие — тоже, — сказал Ломоносов, поздоровавшись.

— Тут словолитчик из академической типографии да мастер, который для обсерватории инструменты чинит, живут. Оба немцы. Да и вся академия — точно немецкая земля, — сказал канцелярист. И добавил: — Садись, гостем будешь.

Ломоносов, так же как и его товарищи, знал только то,

что Академия наук — учреждение ученое и при ней их будут обучать каким-то наукам.

Он обрадовался случаю расспросить человека, который служит в академии.

Новый знакомый рассказал, что Академия наук основана больше десяти лет тому назад императором Петром Великим. Члены академии, профессора, должны делать новые изыскания, каждый в своей науке. Их научные труды издаются на латинском языке каждый год в сборнике «Комментарии Санкт-Петербургской Академии наук».

На латинском языке писали в то время ученые во всех странах: это был международный научный язык. «Комментарии Санкт-Петербургской Академии наук» посылались академиям и ученым обществам в Париж, Лондон, Стокгольм, Болонью и другие города. Ученые разных национальностей читали этот журнал и в свою очередь присылали книги и журналы со своими статьями на латинском языке в библиотеку Петербургской академии наук.

Среди членов Петербургской академии наук были известные физики, математики, астрономы и другие ученые. Все они были приглашены в Россию из других стран на хороших условиях. Русское правительство давало им большое жалованье, квартиры с отоплением и освещением и предоставляло полную возможность спокойно работать над своими исследованиями. А они обязывались подготавливать русских студентов к научной работе.

С каждым академиком заключался договор на пять лет, который мог быть затем продлен при желании обеих сторон. Рассчитывали, что академики, живя в Петербурге, не только напишут научные исследования, но и подготовят себе преемников из русских людей. Однако академики, охотно занимаясь своими научными работами, от обучения русских студентов уклонялись, ссылаясь на то, что эти юноши не знают латинского языка и не имеют знаний, необходимых для слушания лекций.

— В академии двенадцать профессоров: десять немцев да два француза. Ни один по-русски не говорит. Через то вас из Москвы и вытребовали. Вы латыни обучены, а профессора на латинском языке лекции читать могут, — рассказывал канцелярист Соколов своему гостю.

— А нам и невдомек было, с чего такая честь, — сказал Ломоносов.

— У нас и в канцелярии половина дел ведется по-немецки, а половина по-русски. Господин президент академии



Петербург в середине XVIII века.

С графюры Махасва.

На правом берегу Невы — Васильевский остров. Вдалеке видна Академия наук. На левом берегу, с высоким шпилем, — Адмиралтейство.

пишет указы по-немецки, а их уж на русский переводят, — продолжал собеседник.

Из этой беседы Ломоносов узнал много нового. Оказалось, что в академии не только изучают науки — она имеет типографию, издательство и единственную в Петербурге книжную лавку. При академии два раза в неделю выходит единственная в России газета «Санкт-Петербургские ведомости». При газете издается в виде прибавления журнальчик в восемь страниц «Примечания на «Ведомости». Академики пишут для него популярные научные статьи, а переводчики Академии наук переводят их на русский язык.

Академия имеет и гимназию, тоже единственную в Петербурге.

— Сами профессора учат? — спросил Ломоносов.

— Нет, учителя. Только ректор гимназии профессор. Но он за ректорство особое жалованье получает. Там ребят обучают немецкому языку да арифметике, грамматике и еще кое-чему. Думали, из гимназистов выйдут студенты, а получилось иное. Родится у благородного дворянина сын, отец его с колыбели в полк записывает, чтоб чины шли. Лет десяти начнет сына в академическую гимназию возить, чтоб иноземным языкам да некоторым наукам поучился. Годам к пятнадцати малого за выслугу лет произведут в офицеры. Тогда он из гимназии и переходит в полк: в студенты идти ему нет выгоды, — сказал канцелярист.

Казалось, он знал об академии решительно все.

Но нетрудно было заметить, что он говорит о ней со сдержанным раздражением и как будто с некоторой обидой.

Канцелярист Академии наук должен был уметь красиво писать, искусно делая завитушки под строкой и над строкой. Он был обязан самостоятельно составлять некоторые канцелярские бумаги. А получал он немного больше простого служителя, да и эти деньги иногда не выплачивались по полугоду. Немцы, служившие в канцелярии, получали большее жалованье, и платили им аккуратно.

Только позднее Ломоносов понял, почему канцеляристу так хорошо известны академические дела: канцелярию Академии наук вернее было бы назвать правлением академии. Она назначала и увольняла служащих, устанавливала им жалованье, наказывала за проступки.

Начальник канцелярии советник Шумахер еще до основания академии заведывал собранием редких вещей Петра I — кунсткамерой. Перед открытием академии он больше двух лет по приказу царя пробыл за границей и вел переговоры с учеными в Германии, Голландии и Англии,

приглашая их в Россию. Библиотека Академии наук с самого начала находилась в его ведении. Типография, издательство, разные мастерские были созданы при ближайшем его участии и по его предложению.

Начальником академии считался ее президент. Но уже первый президент Академии наук, лейб-медик Петра I Блюментрост, когда с ним заговаривали об академических делах, отвечал обычно:

— Ступайте в канцелярию. Потолкните с Шумахером.

И только если дело было особенно важное, добавлял:

— Он мне доложит.

Президент обычно только подписывал бумаги, которые составлял Шумахер.

Президенты сменялись, а Шумахер оставался. И каждый новый президент предоставлял ему ведение всех дел академии, оставляя себе почетное положение и большое жалованье.

Академики на своих конференциях обсуждали только научные вопросы. А когда они почему-либо жаловались на самовластие Шумахера, им отвечали:

— Шумахер человек гораздо неглупый и деловой. И все, что до академии касается, ему, как никому, известно.

О Шумахере Ломоносов слышал в первом же разговоре с соседом.

— На ваше житье и ученье отпущены особые деньги сверх прочих академических расходов. Токмо Шумахер уже приказал выдать вам на руки самую малую их часть. Канцелярия будет платить эконому Фельтену, а он станет вас кормить да все нужное покупать, что вам, по его рассуждению, потребно. Вам без хлопот, а Фельтену не без выгоды. Фельтен же Шумахеру свойственник. Дрова и свечи тоже от него готовые получите, — сказал канцелярист Соколов.

Расспросив канцеляриста, Ломоносов встал, чтобы уйти. Но, взглянув на номер «Примечаний», взял его и пробежал глазами первую страницу. На ней были напечатаны стихи с длинным заголовком: «Всепокорнейшее поздравление, сочиненное одою к Ея Императорскому Величеству Анне Иоанновне, самодержице всероссийской, при начатии 1736 года, по искренней ревности и верности Академии наук».

В поздравительных стихах воспевались «блаженные времена», наступившие в России после воцарения императрицы Анны:

Уже в России златые веки
Зрит та, что, как кедр, вознеслася.
Что новый год числят человеки,
То и новая слава далася.

Стихи были нескладны, а похвалы императрице воздавались без всякого чувства меры. Неизвестный автор писал от имени Академии наук, что каждое сердце готово чтить

Государыню правосудну,
Что многу часть мира имеет,
Такожде добродетель чудну,
При которой всяк порок тлеет,
А мудрость с искусством и сила
Уже почти все совершила.

— Сочинять оды и нас учили, — сказал Ломоносов, вспоминая уроки в классе пиитики.

Он был лучшим учеником в этом классе и продолжал писать стихи и тогда, когда уроки пиитики кончились.

— А часто издает такие оды Санкт-Петербургская академия? — спросил он канцеляриста.

— Не один раз в год: и в день рождения, и в именины, и в праздник восшествия ея величества на престол, и по случаю побед российского воинства, — ответил канцелярист и добавил: — Ежели хочешь почитать «Примечания», могу дать за минувший год. Да и за другие годы некоторые части у меня имеются.

На полке, прибитой к стене, действительно лежала целая стопка «Примечаний». Взяв журнал за 1735 год и несколько более ранних выпусков, Ломоносов простился с хозяином.

Академия наук назвала это издание «Примечания на «Санкт-Петербургские ведомости», так как предполагалось помещать в нем заметки, объясняющие непонятные для малообразованных читателей «Санкт-Петербургских ведомостей» географические названия, имена исторических лиц и некоторые другие слова, встречающиеся в газете. Но вскоре в журнале стали просто печатать небольшие статьи, в которых академики более или менее общедоступно рассказывали о достижениях науки. Обычно одна статья занимала целый выпуск, а нередко и несколько выпусков «Примечаний».

И хотя они переводились на русский язык неумелыми переводчиками, писавшими путано и трудно, Ломоносов не мог не читать их с жадностью голодного человека, наконец нашедшего пищу, которую долго и напрасно искал.

«Ничто человеческому уму так приятно не бывает, как то, когда он познавать и понимать может способ и причины, как, для чего и что в естестве делается», прочитав он начало одной из статей, напечатанных в «Примечаниях» за 1735 год.

примѢчаніи

НА

ВЪ ДОМОСТИ

ЧАСТЬ 32.

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ АПРѢЛѢ 14 ДНЯ, 1744 ГОДА

О ИНСТРУМЕНТАХЪ КЪ ПОИСКАНИЮ ПОГОДЫ ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ.

Наша жизнь, находясь окруженъ всею чистотою и свѣтлою атмосферою, которая называется воздухомъ и кѣмъ на земле находящимся животноымъ творомъ, къ сохраненію насъ жизни такъ надобно, какъ рыба въ водѣ. Тому еще не очию видно, что свойства воздуха въ естественномъ учении подающе изслѣдовать, нежели какъ съ: прежде учинено было, и чрезъ то усмотрѣли, что онъ многими перемѣнами подверженъ. Сіе подаде случаи къ изобрѣтенію разныхъ инструментовъ, которыми оныя въ воздухѣ являющіеся перемѣны способою примѣчати и измѣрять можно. И понеже скоро по томъ увидѣли, что оныя перемѣны: воздуха съ ежедневною погодою очию съгласны; то изумили оныя инструменты, которые перемѣну воздуха, а следовательно и перемѣну погодъ показывають, инструментами погодъ, изъ которыхъ нѣкоторыя съ нынѣшнихъ временъ было употребительны, и почти во всякомъ изрѣдѣ оубрашенъ вакарь находились. О сихъ инструментахъ погодъ нѣбемъ мы въ нынѣшнихъ нашихъ примѣчаніяхъ разсуждать, и при томъ нѣ употребленіе и пользу, сколько возможно будемъ показывать.

*Первый русский научно-популярный журнал, издававшийся
в 1729—1742 годах.*

В 1741 году в этом журнале начал впервые печататься Ломоносов.

Ему была хорошо известна эта радость — узнавать новое. В поисках за ней он ушел из дому, прочитав первые книги, попавшие ему в руки. И слишком редко она доставалась ему в долгие годы, проведенные в стенах Спасских школ.

В статье, начинавшейся этими словами, рассказывалось о прорастании семян. В ней не было ни ссылок на Аристотеля, ни текстов из церковных книг, без которых в Спасских школах нельзя было рассуждать о законах природы. Только тщательно проверенные наблюдения и опыты приводились как доказательства в естественно-научных статьях «Примечаний».

Ломоносов вспомнил класс философии в Спасских школах, Антопия Кучинского, толковавшего на уроках об устройстве вселенной, и, усмехнувшись, подумал: «Нетрудно некоторым умникам философами стать, выучив наизусть три слова — «бог так сотворил» — для объяснения всех причин».

В «Примечаниях» за 1735 год были напечатаны статьи из разных областей науки: «О солнечных пятнах», «О сыскании Америки и о перехождении в оную некоторых европейцев», «О зажигательных стеклах».

Ломоносов понимал, что каждая из этих статей открывает новую область, о которой он не знает ничего.

В Спасских школах учили: «Мир и все, что в нем есть, создано на потребу человека».

А в одном из старых номеров «Примечаний» помещен был очерк о солнечной системе, в котором высмеивались люди, утверждающие, что Земля является центром вселенной и Солнце создано только для того, чтобы светить людям. В этом очерке человек, думающий, будто Солнце и звезды вертятся вокруг Земли, сравнивался с пауком, который свил паутину на потолке оперного театра и гордится своими подвигами при ловле мух:

«Оный паук думает тогда, что и весь оперный дом в его пользу построил, в котором многие свечи только для того зажигают, чтобы его мужественные и потомков в страх приводящие деяния осветить».

За такое рассуждение в Спасских школах ученика высекли бы нещадно, — сказал Ломоносов, прочитав эту статью.

Он понял, что попал в новый мир, совсем не похожий на тот, в котором прожил пять лет, учась в Спасских школах.

На повороте

На другой день после того, как Ломоносов и его товарищи приехали в Петербург, к ним явился служитель академии, отставной солдат, и, вынимая из кармана пакет, сказал: — От господина Шумахера ордер.

В пакете оказался приказ, подписанный Шумахером. Ученикам предлагалось явиться к профессору Байеру для испытания в науках.

Байер был еще не стар, но походил лицом на лист старинной пергаментной бумаги. В списках академиков против его фамилии было написано:

«Профессор антиквитетов. Его должность состоит в том, чтоб греческие, римские, а особливо ориентальные вещи и языки исправлять».

Это значило, что Байер должен изучать историю Греции, Рима, древние и восточные языки.

Байер составил даже китайскую грамматику, которую напечатала Петербургская академия наук. Но когда с ним заговаривали по-русски, он отвечал по-немецки или по-латыни:

— По-русски не говорю. По-китайски уже выучился, а по-русски не успел.

Он прожил в России тринадцать лет и умер, так и не собравшись научиться русскому языку.

— Каким наукам обучались в московской школе? — спросил Байер по-латыни, когда Ломоносов и его товарищи явились на экзамен.

Узнав, что больше всего изучали латынь, Байер раскрыл книгу римского историка Тита Ливия.

«Как же он узнает, сколь верно мы на российский язык переводим, когда сам нашего языка не понимает?» подумал Ломоносов.

Но Байер нашел выход.

— Прочтите начало первой главы и расскажите на латинском же языке, — сказал Байер по-латыни.

В Спасских школах заставляли заучивать латинские слова и делать переводы. Свободно разговаривать по-латыни там не учили. Да и сами учителя, говоря на этом языке, употребляли неправильные обороты и искажали некоторые слова. Байер нашел, что Ломоносов владеет латинским языком недостаточно свободно и чисто.

Другие отвечали, однако, гораздо хуже. Только один из младших учеников, Дмитрий Виноградов, живой и смысленный юноша, сумел ответить почти так же, как Ломоносов.

— Известна ли вам история римлян? — спросил Байер.

В Спасских школах учеников заставляли на уроках переводить отрывки из сочинений римских историков. Но это делали для того, чтобы, читая в школе об интересных исторических событиях, охотнее изучали латынь.

— Ученики к учению великое возымеют доброхотство, когда невеселое учение веселым познанием мимошедших в мире дел растворено будет, — говорили учителя.

Ученики могли рассказать кое-что о некоторых войнах римлян и о римских императорах, но римскую историю они все-таки не знали.

Байер помолчал, поглаживая двумя пальцами преждевременно пожелтевшую кожу своей тщательно выбритой щеки. Потом сказал, изящно закругляя латинские фразы:

— В Германии никто не может стать студентом, если не научится в гимназии тому, чего вы не знаете. Латинский язык справедливо называют дверью в науку. В московской школе вам эту дверь только немного приоткрыли. И, прежде чем пытаться в царство науки войти, вы должны эту дверь открыть.

Ломоносов и его товарищи ушли в недоумении.

— Неужто нас обратно в Москву отошлют? — спросил в тот же день Ломоносов у соседа канцеляриста.

— Господин Академии наук президент у сената указ испросил, дабы из Москвы учеников прислали. Неприлично теперь в сенат доносить, сделано-де сие напрасно. Шумахер что-нибудь да придумает, — ответил канцелярист.

Прошло несколько дней, прежде чем Ломоносов узнал, что ждет его впереди. За это время он случайно увидел самого президента Академии наук.

Занятия в академической канцелярии происходили с семи часов утра до семи часов вечера. Но с двенадцати до трех был обеденный перерыв, и канцелярист Соколов приходил домой.

Однажды, возвращаясь на службу после перерыва, он позвал с собой Ломоносова, чтобы показать ему, где находится академическая книжная лавка.

Они подходили к академии, когда к ее подъезду подкатила изящная карета с золоченым гербом на дверце. Шесть серых кровных лошадей, запряженных по две в ряд, везли ее дугом. На одной из лошадей передней пары сидел верхом фореитор в тулупе, украшенном галунами. На запятках припустился лакей. У подъезда академии лакей соскочил с запяток, отворил дверцы и помог выйти еще молодому высокому господину в шубе с бобровым воротником.

— Академии наук президент господин барон фон-Корф, — сказал канцелярист Ломоносову, снимая шапку.

Ломоносову не приходилось раньше видеть знатных господ, но он понял, что академию возглавляет не ученый, а вельможа.

Должность президента академии была почетна и выгодна: он получал такое же жалованье, как и первые сановники.

Императрица Анна Иоанновна назначила на это место видного придворного, камергера барона Корфа. Корф принялся за дела академии.

У каждого знатного дворянского рода был свой герб с изображениями, обозначавшими разные доблести: мужество, верность, благородство. Создалась целая наука, изучавшая гербы, — герольдика. Барон Корф хорошо знал эту дворянскую науку. И для академии он решил заказать печать, не уступающую гербу самого знатного рода. Академик Бекештейн, специалист по герольдике, помог президенту составить проект печати.

На золотом поле изображен был черный двуглавый орел. На груди у орла — красный щит, на щите — греческая богиня мудрости и знания Минерва с копьем в одной руке и щитом в другой. На щите богини красовалась латинская надпись: «Здесь в безопасности пребывает».

Корф решил представить этот проект на утверждение самой императрицы.

Он написал по-немецки объяснение надписи на щите богини, а академический переводчик перевел для императрицы:

«...Показует, что Академия или науки под все милостивейшим защитением Вашего Величества продолжаться и процветать будут».

Потом, взяв рисунок и бумагу с объяснением, барон Корф поехал во дворец.

После утреннего завтрака императрица сидела в креслах и слушала болтовню карлицы, примостившейся у ее ног. А когда карлица замолкала, императрица поощряла ее легким пинком и требовала:

— Говори.

— О чем прикажешь говорить, матушка? — спрашивала карлица.

За недогадливость карлица получала новый пинок, тогда более сильный. Раздавался окрик:

— Говори, что знаешь, только позанятней!

Потом следовало приказание:

— Сказывай про разбойников. Да пострашнее. Хоть ври, да не молчи.

Барон Корф как камергер имел доступ во дворец. Он хорошо знал: Анна Иоанновна целыми часами изнывает от скуки и от лени. Надо выбрать подходящую минуту, развлечь императрицу, и тогда можно получить, что хочешь.

Императрице доложили о бароне Корфе в ту минуту, когда ей надоела болтовня карлицы.

Анна Иоанновна приняла его милостиво.

Корф поклонился очень низко, но изящно, почтительнейше поцеловав руку, осмелился спросить о здоровье и рассказал новую сплетню об одной из знатных курляндских дам.

Потом показал картинку. А когда императрица похвалила рисунок, Корф сказал, что нижайше просит апробировать — одобрить — печать.

Он хотел было прочитать и заготовленную бумагу — подробное объяснение, — но императрица не стала слушать. Она потребовала перо и написала: «Опробуется».

Барон Корф решил, что одно полезное дело для академии он уже сделал.

В официальных бумагах Корфа именовали:

«Академии де-сиенс главный командир».

Он был образованнее других сановников и гордился старинными редкими книгами своей библиотеки.

И все-таки на деле главным командиром академии оставался Шумахер.

Почтительно докладывая Корфу, он умело подсказывал то решение, которое сам считал нужным принять.

Вопрос о присланных из Москвы учениках разрешил тот же Шумахер. Он понимал, что академики могут отказаться читать лекции недостаточно подготовленным студентам.

Шумахер нашел выход: обучать присланных учеников при гимназии, а когда подучатся, перевести в студенты.

Президент согласился.

— Полезно бы отдать их под ближайший надзор адъютанту Адоурову, — доложил Шумахер.

Барон Корф одобрил предложение и приказал прибавить Адоурову жалованье.

Адоуров хорошо знал латинский и немецкий языки. Он помогал академику Крафту при занятиях в физическом кабинете. Однако паука его не особенно интересовала, и он все не мог решить, на какой специальности ему следует остановиться: на физике, математике или русской грамматике.

Адодуров числился адъюнктом. Так назывались молодые ученые, работавшие под руководством академиков. Когда академию упрекали в том, что за десять с лишним лет она не подготовила ни одного русского ученого, Шумахер отвечал:

— В Академии наук есть адъюнкт Адодуров.

Он был исполнителен и умел ладить с начальством. Но академики, которые имели с ним дело, подчас думали:

«Чиновником бы ему быть, а не ученым».

Когда Адодуров пришел в академический дом, где поселились московские ученики, то увидел двенадцать юношей в возрасте от шестнадцати до двадцати четырех лет, плохо одетых и явно не отличавшихся хорошим воспитанием.

На всякий случай он решил запросить канцелярию:

«С солдатом ли сих учеников в гимназию повелено посылать будет или без солдата?»

Адодуров сомневался, станут ли они прилежно посещать гимназию.

Но занятия пошли неаккуратно по другой причине: учителя часто пропускали уроки. Они знали, что московские ученики — люди без роду без племени, и занимались с ними небрежно.

А члены академии держались недоступно. Два раза в неделю, надев парики и шпаги, они приезжали в академию на конференцию. Они по очереди делали доклады на латинском языке и обсуждали их по-латыни или по-немецки. Посторонние на конференцию не допускались. Ломоносов и его товарищи видели академиков только издали.

Как изучают науку в академии, Ломоносов узнавал не от академиков.

В один из ближайших дней, когда не было уроков, Ломоносов пошел в музей академии — кунсткамеру. У дверей первого зала кунсткамеры стоял странный человек в красных штанах и зеленом суконном мундире с красными обшлагами. Левый рукав мундира был шире, чем правый, и оттуда торчала безобразная ладонь в три четверти аршина толщиной.

Ломоносов невольно остановился: ему показалось, что он видит не руку, а живую колоду, более толстую, чем человеческое тело.

Человек этот был монстр, один из тех чудовищных уродов, которых присылали в кунсткамеру с разных концов страны.

— Содержатся ради курьезит⁶, — говорили про монстров.

В кунсткамеру старались собрать удивительные, или «куриозные», как говорили тогда, вещи: редкие экземпляры растений и животных, необыкновенных по уродству людей.

Шумахер, заведующий кунсткамерой, решил использовать монстров как привратников.

«Дабы втуне хлеба не сги», пояснил он в приказе.

В залах кунсткамеры у Ломоносова разбежались глаза.

Чучела редких птиц и зверей, старинные вещи, коллекции насекомых из Ост-Индии и Вест-Индии, клыки мамонта, камни, на которых отпечатались давно исчезнувшие растения, — все это было для него ново и удивительно.

Анатомические препараты, необыкновенно искусно сделанные голландским анатомом Рюйшем, показывали, как устроены человеческий мозг, глаза, сердце, легкие, желудок и другие органы. Тут же в стеклянных банках со спиртом стояли уроды: козлята с двумя головами, младенцы, родившиеся без рук, теленок с восемью ногами.

Еще Петр I повелел разослать по всем городам указ, чтобы в кунсткамеру доставлялись разные уроды.

С тех пор прошло больше пятнадцати лет. В кунсткамеру продолжали привозить разные диковинки.

Из какого-нибудь отдаленного города вроде Соликамска приезжал курьер с тщательно запакованным ящиком и с пакетом. В ящике оказывалось куриное яйцо необыкновенной величины и формы. А в пакете — письмо от воеводы на имя президента Академии наук барона Корфа.

«Не рассуждая об обретающейся в сем яйце материи, оставляю в премудрое рассуждение Вашего превосходительства. То яйцо, ведая Вашего превосходительства горящее любопытство к куриозным вещам, яко монструм, до рук Вашего превосходительства при сем с нарочным посылаю и себя рекомандую в милостивую протекцию Вашего превосходительства», писал воевода.

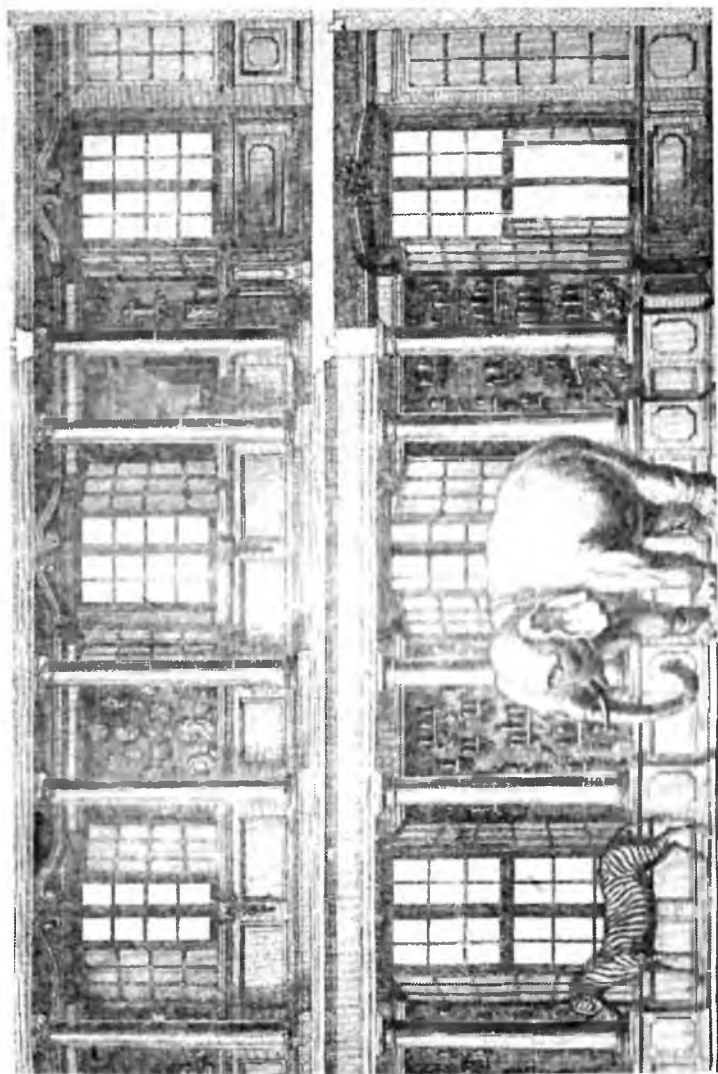
Яйцо выставлялось в кунсткамере.

Но в кунсткамеру попадали не только случайные приношения. Академики собирали для нее научные коллекции.

В кунсткамере хранился большой гербарий с растениями, которые росли вокруг Петербурга. Здесь можно было видеть старинную утварь, найденную при раскопках. Академики, путешествовавшие по Сибири, присылали причудливые меховые одежды, луки, копыя, самодельную посуду сибирских народов.

В одних и тех же залах нередко были выставлены самые разнообразные предметы.

Вернувшись из кунсткамеры, Ломоносов постарался



Уголок кунсткамеры.
С гравюры 1741 года.



*Библиотека Академии наук.
С гравюры 1741 года.*

вспомнить то, что видел. Но это оказалось нелегко. Перед глазами вставали человеческий мозг с кровеносными сосудами, наполненными окрашенным воском, и многоцветные крылья индийских бабочек, китайская статуэтка из слоновой кости и какие-то дикие одежды из птичьих перьев, приобретенные где-то в Сибири.

Эти впечатления как будто мешали друг другу. И все-таки Ломоносов испытывал такое же чувство, как в детстве, когда забирался на мачту отцовского судна. Казалось, горизонт расширился, впереди виделись новые берега.

Другой достопримечательностью Академии наук была библиотека. Шумахер, любивший показывать библиотеку знатым посетителям, позаботился о том, чтобы полы ее были выложены плитками белого и черного мрамора, и заказал великолепные шкафы. В шкафах стояли книги на разных языках, нередко старинные и дорогие. Академики брали их для своих занятий.

Академия наук справедливо гордилась своей библиотекой. На покупку книг за границей было затрачено немало денег. Еще больше книг Академия наук получила другим путем. В академическую библиотеку поступили книги Петра Великого после его смерти. Лейб-медик Петра Великого Арескин, любитель книг, многие годы приобретал не толь-

ко медицинские сочинения, но и разные другие издания. Когда он умер, четыре тысячи ценных книг попали в библиотеку академии. Сюда же передали библиотеку знаменитого сотрудника Петра Великого — генерала Брюса, инженера и артиллериста, ученого и коллекционера.

Книги царевича Алексея, как и всех осужденных на казнь или ссылку с конфискацией имущества, тоже были переданы Академии наук.

Шумахер не жалел денег на красивые переплеты, чтобы внешний вид книг нравился знатым посетителям, которые иногда заходили в кунсткамеру и библиотеку. Он приказал даже ради большей красоты расставлять книги не по содержанию, а по формату, так, чтобы книги одинаковой величины стояли рядом.

— Не весьма требуется следовать материи книг, дабы не утратилась красота, которая в библиотеке требуется, — говорил Шумахер.

Если у какого-нибудь вельможи вдруг являлось желание почитать, он посылал к Шумахеру лакея. И Шумахер торопился оказать услугу важной персоне.

— Дозволено ли нам книги в академической библиотеке брать? — спросил однажды Ломоносов Адодурова.

— Чином не вышли, — ответил Адодуров.

Зато книжная лавка Академии наук была открыта для всех. Охотников покупать книги было немного.

Когда Ломоносов в первый раз пришел в книжную лавку, там совсем не было посетителей.

В углу за высокой конторкой стоял аккуратно одетый пожилой немец и что-то писал.

— Книги посмотреть можно? — спросил у него Ломоносов.

— Каждому дозволяется, — ответил немец, старательно выговаривая русские слова.

Это был обычай всех немецких книгопродавцев: разрешать смотреть книги, чтобы приохотить покупателей. На столах и полках стопками лежали русские, французские, немецкие и латинские книги.

Сюда поступали в продажу разные книги из Лейпцига, Амстердама и Парижа. На особом столике лежали издания, напечатанные в академической типографии: «Санкт-Петербургские ведомости», латинский сборник «Комментарии Санкт-Петербургской Академии наук», календари и несколько толстых книг.

Ломоносов стал перелистывать книги одну за другой. Одну книгу на латинском языке, изданную в Амстердаме, со

многими рисунками, он долго не выпускал из рук. «Математические начала физики, подтвержденные опытами, или введение в Невтонову философию», перевел он мысленно ее название. В книге излагались законы, открытые Ньютоном и другими великими учеными, описывались физические опыты, изображались никогда не виданные Ломоносовым приборы и машины.

«В Спасских школах в классе философии тоже толковали физику. Но та физика на сию науку и в малом непохожа», подумал Ломоносов.

Он запомнил название книги, чтобы со временем ее достать.

«В минувшем году я потащился в Киев за наукой и ни с чем возвратился. Больше пользы, пожалуй, было бы таковые книги почитать. А ежели уж ехать за наукой, так в те края, откуда в Санкт-Петербургскую академию профессоров выписывают. Да не с нашим кошельком в чужие страны ездить», подумал Ломоносов.

Другая книга, которая очень заинтересовала Ломоносова, называлась «Новый и краткий способ к сложению российских стихов».

В Спасских школах, в классе пиитики, он целый год изучал правила стихосложения. Его учили, что русские стихи надо писать, как латинские: располагать в определенном порядке долгие и краткие слога. Он сам писал в школе стихи таким же образом.

Раскрыв книгу, Ломоносов с удивлением прочитал совсем другие правила. Автор утверждал, что в русских стихах, так же как и в русских народных песнях, благозвучие зависит от того, как расположены ударения.

И тут же приводились стихи, написанные по-новому.

Ломоносов прочитал начало стихотворения, озаглавленного «Песнь,петая перед Ее Императорским Величеством Анной Иоанновной»:

Новый год начинаем,
Радость все ощущаем.
Благодать изобильна,
От бога нам всеильна,
Щастьем богом данны
Императрицы Анны.

Стихотворение было не совсем складно, но звучало оно все же совершенно иначе, чем те вирши, которые сочинялись в Спасских школах на уроках пиитики.

Книга стоила тридцать копеек. Это было немало для Ломоносова. Но он все же ее купил.

На заглавном листе стояло имя сочинителя: «Санкт-Петербургской Императорской Академии наук секретарь Василий Тредиаковский».

Вечером, увидав своего соседа канцеляриста, Ломоносов сказал ему, что купил книгу академического секретаря Тредиаковского.

— Да он секретарем только числится. У канцелярских дел он никогда и не был. Его должность в том состоит, чтобы переводы делать, особливо с французского языка, и в торжественные дни оды сочинять. Сказывают, однажды государыня изволила заслушать песнь, им сочиненную, и всемилоостивейше пошутила: допустила его поцеловать руку и дала ему оплеухину. А для канцелярских дел в академии другой секретарь имеется, — сказал сосед.

Потом Ломоносов узнал, что Тредиаковский тоже когда-то учился в Славяно-греко-латинской академии. Уйдя оттуда, он почти без денег отправился за границу, жил в Париже, много бедствовал и много учился. А через пять лет, вернувшись в Россию, поступил на службу в Академию наук.

Ломоносов с интересом прочитал купленную книжку. Он хорошо помнил уроки пиитики. Тредиаковский предлагал писать стихи иначе, чем учили в Спасских школах. Ломоносову захотелось продумать это. Он отложил книжку с тем, чтобы прочитать ее еще раз.

Прошло всего полтора месяца с тех пор, как Ломоносов приехал в Петербург. И вдруг в его жизни произошел новый поворот.

В то время Сибирь была почти не изучена. Проезжавший через нее в Китай русский посол писал в Петербург:

«Сибирская провинция зело обетованная в хлебном роде, в рыболовлях, в звероловлях и преизобильная рудами, разными мраморами и лесами. Такого преславного угодья, чаю, в свете нет».

По указу сената, в Сибирь была послана большая экспедиция. В ней приняли участие и три академика: натуралист, астроном и историк. Но требовался химик, умеющий исследовать руду.

Среди академиков такого ученого не было. Между тем богатые руды имелись не только в Сибири. Они были и на Урале и в других местах. Химики, знающие горное дело и металлургию, могли потребоваться еще не раз.

Академия наук решила послать в Германию трех студентов учиться этим наукам.

Ломоносов и Виноградов неожиданно получили приказ явиться в канцелярию к советнику Шумахеру.

Они пришли в назначенный час.

Шумахер сидел в кабинете за столом, покрытым красным сукном. Это был пожилой человек, всем своим обликом походивший на владельца большого и солидного иностранного промышленного или торгового предприятия. Против него сидел секретарь и почтительно докладывал по-немецки поступившие в канцелярию бумаги. Когда Ломоносов и Виноградов переступили порог, Шумахер кивнул головой в ответ на их поклон и велел подождать.

Секретарь продолжал докладывать:

— Лейпцигский книгопродавец Миллер просит выслать десять штук «Комментариев Санкт-Петербургской Академии наук» в обмен на новые немецкие книги.

— Заготовить ответ: «Комментарии» высылаем. Названия потребных книг сообщим», — распорядился Шумахер.

— Корректор типографии рапортует: служитель Иван Петров два дня прогулял, на третий день пришел пьян, — продолжал секретарь.

— Запишите резолюцию: бить батогами перед прочими служителями.

— Парижская Академия наук последние свои труды прислала, — сказал секретарь.

— Должно благодарить с надлежащим учтивством. Ответ напишу сам и господина президента подписать попрошу, — ответил Шумахер.

Когда все дела были решены, Шумахер позвал Ломоносова и Виноградова.

Коротко и точно, хотя и неправильно выражаясь по-русски, Шумахер объяснил, зачем они вызваны.

Академия наук решила послать за границу студентов. Сперва в немецком городе Марбурге они будут учиться под руководством знаменитого профессора Христиана Вольфа математике, физике и другим наукам, а потом переедут в Фрейбург, чтобы изучать горное дело и металлургию у горного советника Генкеля. Будут отпущены достаточные средства на их жизнь и ученье за границей.

— Господин Байер и адъюнкт Адодуров отозвались, что вы сего назначения достойны более, нежели другие ученики, — сказал Шумахер.

— С великой охотой поеду, — ответил Ломоносов.

— Также и я, — сказал Виноградов.

Шумахер добавил, что вместе с ними поедет еще один студент, Рейзер, сын советника Петербургской берг-коллегии, ведавшей разработкой руд и выплавкой металлов в России.

Вернувшись из канцелярии, Ломоносов с торжеством объявил товарищам, что уезжает за границу. Но когда на следующий день он заговорил о поездке с Адодуровым, то получил ответ:

— Учись, как учился. Доколе от сената деньги на сие дело не будут получены, толковать нечего.

Только через пять месяцев Адодуров, придя однажды в академическую гимназию, сказал Ломоносову:

— Теперь собирайся в путь.

Укладывая в дорожный сундучок свои вещи, Ломоносов положил туда и книжку Тредиаковского.

В сентябре 1736 года три студента отплыли из Петербурга на маленьком судне «Фербот» в город Любек, чтобы выехать оттуда на лошадях в Марбург.

«На взятие Хотина»

Прошло почти три года с тех пор, как Ломоносов уехал из Петербурга учиться за границу.

Летом 1739 года в южногерманский городок Фрейбург въехала почтовая карета, запряженная двумя парами лошадей. Первым слез почтальон в сером кафтане, с медным рожком на ремне и с тяжелой кожаной сумкой через плечо. Потом стали выходить пассажиры. Среди них выделялся молодой человек, очень высокий, широкоплечий, в кафтане, когда-то сшитом не без щегольства, но уже потрепанном.

Это был русский студент Ломоносов, приехавший с двумя товарищами из Марбурга, где он учился почти три года в университете.

В Марбургском университете он изучил математику, физику, химию и научился говорить по-немецки. В Фрейбург он приехал, чтобы изучать металлургию у горного советника Генкеля. В Марбурге русские студенты наделали долгов, и академии пришлось уплатить занятые ими деньги. Поэтому Петербургская академия наук, пославшая их за границу, поручила Генкелю не только обучать студентов, но и держать их под своим надзором.

В маленьком тихом Фрейбурге жизнь шла ровно и мирно. И Ломоносов на первых порах зажил также размеренно и покойно.

Горный советник Генкель заранее нанял ему комнату в семье одного фрейбургского адвоката. Комната была совсем маленькая и очень дешевая, но аккуратно прибранная. Небольшой столик был покрыт старенькой, но чистой ска-

тертью, на кровати лежали перины. В углу хозяйка поставила шкафчик, чтобы жилец мог в порядке разложить вещи и книги.

Предупрежденный, что его слушатели плохо умеют распоряжаться деньгами, Генкель сам установил весь распорядок их жизни. Даже с прачкой он расплачивался лично и сохранял ее счета, чтобы со временем составить полный денежный отчет и отправить его в Петербург с приложением всех документов. Жить приходилось скромно, но зато без хозяйственных забот.

Днем Ломоносов брал уроки у Генкеля, потом изучал руководства по металлургии и горному делу. Вечерами он читал другие книги.

Из Марбурга он привез с собой сборник стихотворений Гюнтера, известного в то время немецкого поэта. Гюнтер писал торжественные оды и сочинял песни, которые любил распевать марбургские студенты.

Ломоносов давно сделал одно наблюдение над собой. Когда приходилось узнавать что-нибудь новое, непременно являлся вопрос: «А почему это происходит?»

Вслед за тем он спрашивал себя: «А что отсюда следует?»

И теперь, читая Гюнтера, Ломоносов думал: «Почему его стихи звучны и запоминаются легко?»

Он невольно сравнивал их с теми неуклюжими виршиами, которые слагались на уроках поэтики в Славяно-греко-латинской академии.

Книжка Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», которую Ломоносов купил еще в Петербурге, была с ним в Фрейбурге. Он перечитывал ее, делая пометки.

Многое было бесспорно. Но тяжеловесные примеры, сочиненные Тредиаковским, сердили Ломоносова.

И, подчеркивая неудачный стих, он писал на полях:

«Как на гладкой дороге камень».

Стих, в котором Тредиаковский назвал удачное для русского войска сражение «ра́за преблагополучна», образовав нелепое слово «ра́за» от глагола «разить», Ломоносов гневно подчеркнул и на полях написал: «О!!! Веледнейшая оплеуха», вспомнив о «всемиловитвейшей оплеухе», которою императрица Анна Иоанновна наградила Тредиаковского за его оду. В двух стихах он подчеркнул слова «известно» и «вестно» и на полях предложил другую рифму: «ходит», «приходит». А против стиха «восклицаниями сипеют» написал: «изрядно».

ЖЕ И О С И ЖЕ

О разе преблагополучна! О!!! *дв. сл. + пн + гл. + 8 сл. + 4 сл.*

О побѣда! О слава звучна!

Пропала уже лова спесина!

ПРАВДА торжествуя извѣстна, *у. 2. 11 4*

Торжество къуду стало явѣтно *пр. 1. 10 11 7*

И торжествовать ТОИ, нѣтъ дива.

Еще Торжества видны слѣды,

Послѣ преславной той побѣды;

Слѣдуютъ за ПРАВДОЮ мнози,

А всѣ добры сердца имѣютъ,

Восклицанья слыбисты *у. 3. 8 11*

Провождая ПРАВДУ къ чертоги.

То весело видѣнъ въ свѣтѣ былъ, *дв. сл. + пн + гл. + 8 сл. + 4 сл.*

То всю радость, то имъ чинилъ

Коль горько тогда ЕН терѣли

Отъ лжи велику ялость напрасно;

Толь торжественно славно и коасно

Радостно пьлъ правдѣ пѣти.

Страница из книги В. Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложенію российских стихов». СПб. 1735.

Пометки Ломоносова на полях: «О!!! Велеленнейшая оплеуха». «Ходит». «Приходит». «Изярдно». «Патаргас. S Fugida» (холодный пересказ).

Он внимательно читал стихотворения Гюнтера и старался понять, как они сложены.

В лаборатории Генкеля Ломоносов учился разлагать руду на составные части. А дома он почти так же разбирал стихи Гюнтера, подсчитывая число стоп, сравнивая рифмы. Потом он набрасывал русские стихи, чтобы выяснить, применимы ли к ним его наблюдения.

Несколько раз в неделю Ломоносов заходил в книжную лавку. За небольшую плату он получил там право читать две немецкие газеты.

Развертывая газетный лист, он прежде всего смотрел, нет ли известий о России. Но это случалось редко.

Между тем о родине хотелось знать больше чем когда-либо: Россия вела длительную и тяжелую войну с турками.

Летом 1739 года русская армия под командой фельдмаршала Миниха перешла Днестр и вошла в Молдавию и Валахию. Так называли тогда Румынское господарство, подчинявшееся туркам.

Под мерный бой барабанов сомкнутыми рядами маршировали по пыльным румынским дорогам русские солдаты с тяжелыми ружьями на плечах и ранцами за спиной. А за ними длинной лентой тянулись обозы. Десятки тысяч круторогих украинских волов медленно тащили за армией телеги с боевыми припасами, амуницией и провиантом. По обеим сторонам дороги ехали донские казаки, оберегавшие обозы от неожиданных налетов неприятельских конных отрядов.

Высоко в небе над русским войском плавно летали орлы.

— Древние историки свидетельствуют, что когда римские воины шли к победе, впереди парили орлы, — сказал Миних.

Нетрудно было догадаться, что орлы сопровождали войско потому, что им доставалась обильная пища: каждый день падали волы, изнуренные длинной дорогой. Но слова Миниха передавались из уст в уста.

Четырнадцатого и пятнадцатого августа на русскую армию стала часто нападать турецкая и татарская конница.

Однако неприятель ограничивался налетами и не принимал боя.

К вечеру шестнадцатого августа на высокой горе у деревни Ставучаны упали большой укрепленный турецкий лагерь. Здесь стояли главные силы турецкой армии, преграждавшие путь к крепости Хотину.

Всю ночь неприятельские всадники тревожили русских то с тыла, то с правого, то с левого фланга.



Развалины крепости Хотин.

На другой день ранним утром начали стрелять турецкие и русские пушки. Русские ядра скоро разбили часть турецких укреплений. Гвардейские полки пошли в атаку и нанесли неприятелю тяжелый урон.

Тогда турки бросили вперед свои лучшие силы, двадцать тысяч янычар. Янычары дошли почти до самого русского лагеря, но передние ряды их не выдержали огня, дрогнули и побежали. Русские преследовали их, не давая остановиться. Неприятель бежал, бросая знамена, ружья, боевые припасы. Путь к Хотину был открыт.

«На сей дороге на всяком шагу знаки неприятельского всеконечного разбития и генерального страха видимы были. Ибо неприятель в побеге презрядные пушки, большей частью незагвожденные, и множество бомб, картечи, ядер, шанцевых инструментов, пороху и свинцу, тако же провиант, в лесу разбросав, оставил», доносил фельдмаршал императрице.

— Сия генеральная баталия решила исход всей кампании, — говорили русские офицеры.

Сераскир-паша Колчак, находившийся в Хотине, сдался русскому войску вместе с гарнизоном.

Русские могли праздновать полную победу.

Через два дня после взятия Хотина в русском лагере состоялся парад.

Фельдмаршал Миних, высокий, прямой, стройный и еще почти молодой, несмотря на свои пятьдесят шесть лет, принимал парад верхом на прекрасном арабском коне. Рядом с ним стоял пленный сераскир-паша Колчак.

Мимо них везли отбитые турецкие пушки и несли опущенные книзу турецкие знамена. На одном из знамен был вышит золотой полумесяц, но его наполовину закрывало большое темное пятно от плохо отмытой крови.

Сераскир-паша отвернулся. Однако немного спустя он вежливо сказал Миниху:

— Хороши русские солдаты! Не было бы так хорошо российское войско, не находились бы турецкие сераскиры в русском лагере.

Фельдмаршал довольно улыбнулся и приказал объявить слова Колчака по всем ротам.

Известие о разгроме турецкой армии было напечатано и в немецких газетах. Три русских студента в маленьком немецком городке с гордостью слушали разговоры об этом событии. Они чувствовали себя так, как будто и сами участвовали в победе.

Одна из од Гюнтера особенно стала близка теперь Ломоносову. В звучных стихах приветствовал Гюнтер австрийского полководца, двадцать лет тому назад разбившего турецкое войско.

Ломоносову захотелось переложить эту оду на русский язык. Однако, начав писать, он скоро отошел от ее текста. Стихи его были так же торжественны и не менее красивы, но писал он о взятии Хотина.

«Язык наш в своем великолении никакому другому не уступит», думал он, радуясь ритму и рифмам.

Ода Ломоносова начиналась звучными стихами:

Восторг внезапный ум пленил,
Ведет на верх горы высокой.
Где ветер в лесах шуметь забыл,
В долине тишина глубокой.

В некоторых строфах как будто слышалась музыка победного марша:

Шумят с ручьями бор и дол:
Победа, русская победа!
Но враг, что от меча ушел,
Боишься собственного следа.
Тогда, увидя бег своих,

Луна стыдилась сраму их
И в мрак лицо, зардевшись, скрыла.
Летает слава в тьме ночной,
Звучит во всех землях трубой,
Как русская ужасна сила.

По-русски еще никто не писал такими стихами. И замечательны были не только рифмы. Размер стихов с ударением на каждом втором слоге — ямб — был совершенно нов для русских стихотворений.

Ломоносов переживал то чувство, которое испытывает химик, сделавший новый опыт. Ему захотелось показать свой опыт другим и поделиться мыслями о русском стихосложении.

«Наше стихотворство токмо еще начинается. Того ради надобно установить его законы», думал Ломоносов.

При Петербургской академии наук время от времени собиралось несколько человек, интересовавшихся русской литературой, преимущественно переводчики Академии наук. Эти заседания носили название «Российское собрание». В Российском собрании рассуждали о русской грамматике, о составлении словаря русского языка и зачитывали новые переводы.

Василий Кириллович Тредиаковский здесь впервые заговорил о том, что надо улучшить русские стихи.

«Способов не нет, некоторые же и я имею», писал он в докладе, который прочитал в Российском собрании.

Ломоносов решил послать в Российское собрание обстоятельное письмо о правилах русского стихосложения. К этому письму он приложил оду «На взятие Хотина».

Письмо Ломоносова «О правилах российского стихосложения» и ода «На взятие Хотина» получились в Петербурге уже зимой. В это время город готовился праздновать окончание войны с турками.

Двадцать седьмого января 1740 года в Петербург торжественно вошли гвардейские полки, возвращавшиеся из турецкого похода. День был очень морозный, и дул жестокий, пронизывающий ветер. Однако на улицах толпился народ.

Впереди каждой роты шли офицеры в своей походной форме, но к их шляпам были прикреплены кокарды из лаврового листа. Для этих кокард было отпущено немалое количество лаврового листа, хранившегося в кладовых при дворцовой кухне.

— В древние времена римляне после победы входили в Рим с лавровыми венками, — говорили офицеры.

С развернутыми знаменами и барабанным боем полки направлялись ко дворцу императрицы. Недалеко от дворца они увидели необыкновенное сооружение.

На площади стоял высокий, прекрасно сделанный ледяной дом, украшенный ледяными статуями.

«Около одного дворца поставлены были пушки и мортиры, все ледяные, и сделан был ледяной слон, весьма курioзная фигура», вспоминал потом один из офицеров, маршировавших в этот день по улицам Петербурга.

Ледяной слон был такой же величины, как живой. На его спине сидел выточенный из льда погонщик-персиянин, а два других ледяных персиянина стояли рядом.

В тот момент, когда войска вступили на площадь, ледяной слон вдруг издал трубный звук и из его хобота ударил кверху фонтан воды высотой в три сажени. Головы маршировавших солдат, как по команде, повернулись в его сторону. Ледяной слон трубил, как трубит настоящий слон, радуясь и торжествуя, и, как живой, выпускал из хобота струю воды, искрящуюся на солнце.

И никто из дивившихся людей не знал, что в глубине его ледяного тела спрятана пожарная машина, к которой потаенным путем проведена вода из Адмиралтейского канала, и сидит человек, трубящий в трубу.

Гвардейские полки обошли вокруг дворца и, свернув знамена, разошлись по казармам.

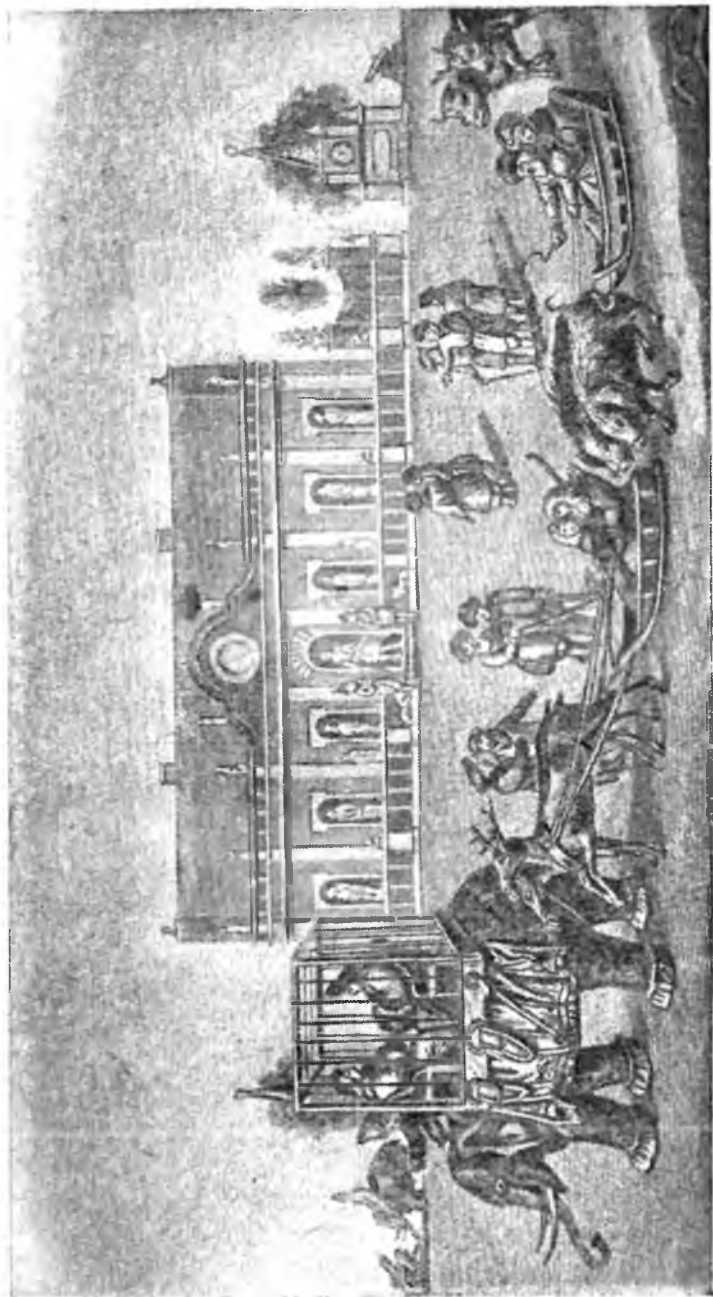
Но торжество на этом не кончилось. Во дворце безобразно толстая женщина с обрюзгшим лицом и высокой прической, осыпанной бриллиантами, — императрица Анна — принимала офицеров и протягивала каждому бокал венгерского вина. Салютовали из пушек. Вечером зажжен был великолепный фейерверк и устроена иллюминация.

В залах ледяного дома загорелись многочисленные восковые свечи, и его белые с зеленоватым оттенком ледяные окна засветились причудливым сиянием.

Из хобота ледяного слона ударила кверху огненная струя. Два ледяных дельфина, лежавших у дверей ледяного дома, выбросили из пасти огонь. И только устроители торжества знали, каких трудов стоило построить механизм, пускавший горящую нефть так, чтобы лед не мог растаять.

Казалось бы, ода «На взятие Хотина» была прислапана как нельзя более кстати, к торжественным дням. Но вышло иначе.

Ломоносов прислал свое письмо о правилах российского



Ледяной дом.
С гравюры 1741 года.
Шутовская свадьба

стихотворства и приложенную к нему оду в Российское собрание.

— Тут тебе и книги в руки, Василий Кириллович, — сказал член Российского собрания адъютант Адодуров Тредиаковскому, передавая ему на рассмотрение оду и письмо Ломоносова.

После того как Тредиаковский напечатал свой «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», прошло более четырех лет, однако он оставался не только первым, но и единственным русским ученым, изучавшим законы стихосложения.

И хотя уже тогда некоторые подсмеивались над его неуклюжими стихами, он был признанным поэтом.

Рукопись Ломоносова Тредиаковский взял в руки со смешанным чувством: ему очень хотелось ее прочитать и в то же время было неприятно, как будто на той земле, которая до сих пор принадлежала ему одному, вдруг поселился еще кто-то.

Ломоносов указывал, что в русском языке ритм стихов зависит прежде всего от порядка ударений. Но он не нашел нужным напомнить, что это правило уже установлено Тредиаковским.

Тредиаковский почувствовал себя задетым.

— Ежели рудознавец новый способ откроет, коим можно из руды полезный металл извлекать, то немалую похвалу за такую инвенцию получит. А студент сей даже имя мое называть не пожелал, — сказал Тредиаковский.

Ломоносов не отвергал стихотворные размеры, указанные в книжке Тредиаковского, но он предлагал и такие размеры, о которых Тредиаковский не упоминал. И каждое свое утверждение Ломоносов пояснял примером: он приводил то отдельную строчку, то целое маленькое стихотворение, им самим сочиненное.

Некоторые правила, о которых говорил Тредиаковский, Ломоносов решительно оспаривал.

«Стих тот весьма худ, который весь ямбы составляют или большая часть оных», писал Тредиаковский.

«Чистые ямбические стихи хотя и трудновато сочинять, однако, поднимаясь тихо вверх, материи благородство, величие и высоту умножают. Оных нигде не можно лучше употреблять, как в торжественных одах», утверждал Ломоносов.

Ода «На взятие Хотина» была написана тем самым размером, о котором так пренебрежительно отзывался Тредиаковский. И хотя такими звучными и красивыми стихами еще

никто не писал до того времени по-русски, Тредиаковский пришел в негодование.

— Ода сия сложена противно правилам, мною установленным! — сказал он с возмущением.

Тредиаковский невольно вспомнил другую оду на взятие Хотина, которую недавно прислал ему харьковский учитель Витынский. Эта ода была написана такими же стихами, какими писал сам Тредиаковский. Он устроил ее печатание в типографии академии и даже сам правил корректуру.

Тредиаковский с удовольствием прочитал на память отрывок из оды Витынского:

Восток, запад, север, юг, бреги с океаном,
Новую слушайте весть, что над мусульманом
Полную российский меч, столь храбрый, сколь славный,
Викторию получил и авантаж главный.

Потом он припомнил начало почтительного латинского письма, которое сопровождало эту оду:

«Благородному и ученейшему мужу господину Базилию Тредиаковскому, заслуженному секретарю Академии наук».

Он почувствовал новый прилив негодования, очинил тушиное перо и начал составлять ответ Ломоносову.

Это была большая работа. Тредиаковский привык писать обстоятельно. Он обложился книгами и стал подбирать цитаты, чтобы сделать ответ более убедительным.

А между тем при дворе готовилось небывалое празднество. Для него потребовались и услуги поэта.

Вельможи Анны Иоанновны хорошо знали, что скорее получат награду за новую потеху для государыни, чем за услуги государству.

Двенадцатого февраля в Ледяном доме должно было состояться необыкновенное торжество: свадьба придворного шута князя Голицына и придворной шутихи Бужениновой.

Ненцы, калмыки, татары, эвенки и многие другие народы, жившие в Российской империи, получили приказ послать в Петербург по два человека — мужчину и женщину — в национальных костюмах. Они должны были проехать по улицам Петербурга на свиньях, верблюдах, собаках, играя на своих музыкальных инструментах и распевая свои песни. А впереди должен был выступать слон, на спине которого в клетке сидели жених и невеста.

Немногие, посвященные в план празднества, заранее улыбались, думая о том, как будет выглядеть слон, когда подойдет к своему ледяному собрату у Ледяного дома.

Кабинет-министр Артемий Петрович Волинский, честолю-

бивый, властный, горячий человек, распоряжался всеми приготовлениями к празднеству.

Он был изобретателен, умел быстро принимать решения и справедливо считался одним из самых способных министров. Но люди, знавшие его лично, говорили:

— Артемий Петрович в партикулярной своей жизни человек свирепый и жестокосердый.

Во время подготовки маскарада Волынский как будто заслонил собою других министров. Даже приближенный императрицы курляндский герцог Бирон с негодованием увидел, что Волынский отодвигает его в сторону.

Волынскому пришла мысль использовать для приготовлений к маскараду и Академию наук.

Академия получила запрос:

«В чем ходят, на чем и на каких скотах ездят мордва, чуваша, черемисы, тунгусы и прочие, какие есть, подданные российские?»

Вслед за тем пришел приказ найти изображения и срисовать:

«Пастуха с его убором».

«Одного осла, одного верблюда».

«Самоеда, одного мужского и одного женского вида».

«Водолаза одного».

«Башкирскую жену».

«Бахуса, как пишется, изобразить».

«Есть народы, шитые рожи, тех изобразить же в фигурах».

В шутовской свадебный обряд вошло и чтение поздравительных стихов.

Волынский вспомнил о состоявшем при Академии наук поэте Тредиаковском. Последнему было приказано сочинить стихи и прочитать их на шутовской свадьбе.

Тредиаковский обычно робел перед знатными и сильными людьми. Отказаться выполнить приказ Волынского он никогда бы не решился, но теперь мысли его всецело были заняты ответом Ломоносову. Он писал письмо с таким жаром, как будто Ломоносов задел его честь. Поздравительные стихи для шутовской свадьбы не были написаны в срок.

В то же время до Волынского дошел слух, будто Тредиаковский сочинил про него какую-то песенку.

Вечером четвертого февраля к Тредиаковскому явился какой-то кадет, обучавшийся в военном сухопутном шляхетском корпусе, и заявил:

— Тебя требуют в кабинет. Одевайся.

Императорским кабинетом называлось высшее государственное учреждение, которому императрица передала решение важнейших дел.

Тредиаковский почувствовал, как у него от страха затрепетало сердце. Но по дороге он увидел, что его везут не в кабинет, а к Слоновому двору, как называли место, где содержался слон.

Здесь делались все приготовления для шутовской свадьбы. Тредиаковский рассердился.

— Ты ведь таким объявлением мог бы человека жизни лишить или по крайней мере в беспамятство привести! — упрекал он кадета.

На Слоновом дворе Тредиаковский увидел Волынского.

— Ваше превосходительство, покорнейше прошу выслушать мою жалобу, — сказал Тредиаковский, низко кланяясь. — Меня обманным образом...

— Ты не хочешь делать, что тебе сказано, да еще жалуешься! — крикнул Волынский и ударил его кулаком в лицо.

Тредиаковский пытался оправдываться, закрывал голову руками, но это не помогало: удары следовали один за другим.

Вечером того же дня он едва добрался до дома и сел сочинять стихи для шутовской свадьбы.

На другой день он сделал попытку пожаловаться герцогу Бирону. В приемной у Бирона он встретил Волынского.

— Я тебе покажу, как жаловаться! Я тебя отучу песенки сочинять! — крикнул Волынский и опять стал бить его по щекам.

Потом Волынский позвал солдат, приказал взять Тредиаковского под караул и бить палками. Тредиаковскому дали больше сотни ударов.

На шутовскую свадьбу в Ледяном доме Тредиаковского привели в маскарадном костюме и в маске, но под стражей. Он прочел поздравительные стихи, но его освободили только на следующий день, после новых побоев.

Вернувшись домой, Тредиаковский слег в постель.

По приказу президента Академии наук, его навещил доктор, академик Дювернуа.

«Спина была у него в те поры вся избита, от самых плеч и далее поясницы. Да у него же под левым глазом было подбито и пластырем залеплено. Для предупреждения от загнания велел ему спину припарками укладывать», написал Дювернуа президенту академии.

Жаловаться Тредиаковский больше не решался.

«Я человек бедный, беззащитный. Разве можно мне с такой высокой персоной тягаться? Вместо суда только конечную погибель получу», говорил Тредиаковский.

Он чувствовал себя плохо и составил завещание. Свои книги он завещал передать в библиотеку Академии наук. Потом, хотя сидеть было больно, он стал дописывать ответ Ломоносову.

«Ежели помру, пускай за мной хоть та честь останется, что я новый путь российским стихотворцам открыл», решил Тредиаковский.

Через день после того, как доктор нашел Тредиаковского лежащим в постели с избитой спиной, ответ Ломоносову был окончен.

Два члена Российского собрания — адъютант Адодуров и унтер-библиотекарь Тауберт — прочитали рукопись Тредиаковского и дали заключение:

«Сего учеными спорами наполненного письма для пресечения дальнейших бесполезных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж за почту денег напрасно не терять».

Рукопись Тредиаковского осталась лежать в канцелярии Академии наук. Письмо «О правилах русского стихосложения» Ломоносова осталось без ответа. Его ода пролежала неизданной несколько лет.

Торжества по поводу победы над турками и заключения мира закончились наградами. Бирон, не принимавший участия в войне, получил пятьсот тысяч рублей и золотой кубок, осыпанный бриллиантами. Даже придворному лакею, который ухаживал за любимой собачкой императрицы Цытеренькой и каждый день приносил ей кружку сливок из придворной кухни, дали три тысячи рублей золотом.

Ломоносов за оду «На взятие Хотина» не получил ничего.

Бунт

Горный советник Генкель был человек пожилой, рассудительный и аккуратный. Он хорошо знал свое дело, но давно уже не вел работу в рудниках. Генкель написал несколько книг о том, как изучать горные породы и добывать металлы. Потом он покойно зажил в Фрейбурге. Он составил порядочную коллекцию минералов и устроил у себя небольшую лабораторию. Здесь за хорошую плату Генкель обучал учеников.

Генкель читал лекции обстоятельно. Вынув кусок какой-

либо горной породы из ящика, он неторопливо перечислял все ее свойства.

Ломоносов в первое время слушал лекции очень внимательно, как всегда, жадно узнавая новое. Потом у него появилось какое-то сперва неясное чувство недовольства. И однажды, слушая лекцию Генкеля, Ломоносов вдруг подумал, что господин горный советник сам похож на ученика, который старательно выучил урок, но не заинтересовался узнать то, что не задано.

Потом Ломоносов не раз вспоминал это сравнение, когда задавал Генкелю какой-нибудь вопрос, выходящий из программы занятий.

— Почему металл от удара молотом куется, а камень дробится? — спрашивал Ломоносов.

— Бесполезный вопрос, — отвечал с досадой Генкель.

— А профессор Вольф в Марбурге нас учил, что каждое тело состоит из частичек, глазом невидимых. Между ними имеются мельчайшие скважины. В разных телах и частицы эти различны. Надобно узнать строение вещества, чтобы его качество понять, — продолжал Ломоносов.

— Нечего рассуждать о том, чего и видеть нельзя. Излишняя потеря времени, — прерывал Генкель.

Ломоносов переставал спорить и думал:

«Сей знаток сам собой и своей ученостью весьма доволен, а до основания своей науки доискиваться не хочет. Не понимает, что нельзя слово прочесть, доколе буквы не узнаешь».

Когда Генкель давал объяснения слишком длинно, Ломоносов хмурился. Он сразу схватывал суть. Повторения вызывали досаду.

«Не по той ли причине тянет, чтоб учение наше затянуть да побольше плату за то получить?» думал он недоверчиво.

Время от времени Генкель пытался оживить урок, повторяя заранее приготовленные шутки.

Вынимая из ящика кусок руды, он острил:

— Это потруднее разложить на части, чем талер на гроши. Талеры вы, наверно, сумели бы разменять в винном погребке.

И он поглядывал на слушателей, ожидая одобрения.

— Уже слышали, — говорил Ломоносов.

Генкелю становилось не по себе. Он продолжал лекцию, но через некоторое время вставлял очередную плоскую шутку:

— Белую серебряную руду нередко находят в соедине-

нии с камнем и особенно с кварцем. Вы, я знаю, предпочли бы, чтобы она находилась в чистом виде и притом в ваших карманах. И я бы, мои юные друзья, не отказался найти ее в собственном кармане, и притом уже освобожденной от твердого камня.

Слушатели угодливо улыбались. А Ломоносов думал:

«Он точно себе навсегда расписание сделал не токмо, как жить, что говорить и на что деньги тратить, но и как шутить. Да так по сей росписи и живет. Скушно».

Иногда объяснения Генкеля казались Ломоносову недостаточно убедительными. Тогда он настойчиво задавал вопрос за вопросом, требуя доказательств, точных и бесспорных.

Генкель начинал сбиваться.

— Довольно спрашивать! — говорил он с досадой.

Но Ломоносов не упирался.

После таких столкновений Ломоносов иногда думал:

«Напишет в академию жалобу, что я-де самогласник и прекословник. Ну, и ладно! Я хочу более правду, нежели свою выгоду соблюдать».

Однако Генкель не писал. Он опасался, что в ответ на его жалобу станет жаловаться и Ломоносов. Несомненно, поверили бы почтенному горному советнику, а не студенту, однако все-таки было бы приятнее, чтобы не прошел слух, будто у него бывают какие-то недоразумения с учениками.

Кроме русских студентов, Генкель принял еще трех учеников. Это были молодые люди из состоятельных немецких семейств.

Ломоносов случайно узнал, что они платят Генкелю меньше, чем Петербургская академия наук за русских студентов.

— Они свои деньги платят, а русские — казенные. У русской царицы денег много, — говорил Генкель.

«Не для того у российских крестьян подушные подати выколачивают, чтобы зря лишние деньги господину Генкелю платить!» с негодованием думал Ломоносов.

Среди немецких учеников был один молодой граф. Это был юноша вежливый и надменный в одно и то же время. Он изысканно одевался и носил шпагу с золотой рукояткой.

Когда граф пришел в лабораторию впервые, Генкель почувствовал себя так, точно получил знак отличия. Читая лекцию, Генкель несколько раз почтительно спрашивал у графа, все ли ему понятно. С русскими студентами Генкель стал говорить слегка пренебрежительно. Казалось, ему было неловко оттого, что высокопоставленный ученик должен

учиться вместе с людьми, у которых нет хороших манер, а одежда поношена.

Ломоносов хмурился.

Еще в Спасских школах хорошо знали, что Михайла Ломоносова лучше не задевать. Он не давал спуска обидчикам. Ломоносов мог долго сдерживаться, но когда бросался в драку, то бил сплеча, не помня себя от гнева.

Теперь, слушая Генкеля, Ломоносов с трудом сдерживал негодование. Ему казалось иногда, что где-то внутри точно пятапулась тетива. Нужен небольшой толчок, и она сорвется.

Однажды, читая очередную лекцию в лаборатории, Генкель показал слушателям кусочек вещества, похожего на свинец, и сказал:

— Перед вами сурьма, по цвету похожая на свинец, а по твердости и ломкости подобная кирпичу. Она очень ядовита, однако в соединении с некоторыми веществами яд свой теряет. На огне она испускает серый дым и рассыпается в серый порошок, который почти столь же ядовит, как мышьяк. Сейчас вы увидите эти свойства сурьмы на опыте.

В этот день служитель лаборатории отсутствовал во время занятий. Генкель сказал Ломоносову тоном приказа:

— Возьмите железный лист, растолките на нем кусок сурьмы и подогрейте на огне.

Резкий тон, которым было отдано приказание, задел Ломоносова. Он посмотрел на самодовольное круглое лицо Генкеля, потом на франтоватого юного графа и не тронулся с места.

Генкель повторил свои слова.

— Не хочу, — ответил Ломоносов.

— Я приказываю! — сказал Генкель.

Сразу стало как-то особенно тихо. Юный граф, прищурив один глаз, смотрел на Ломоносова и усмехался.



*В фрейбургской лаборатории.
С гравюры 1730 года.
Пробирный мастер.*

— Я вам не слуга, — ответил Ломоносов, отчеканивая каждое слово.

Генкель попробовал пошутить:

— Кто хочет офицером стать, должен солдатом побывать. Надо и вам солдатом порох понюхать.

Еще в Спасских школах часто угрожали неисправным ученикам, что выгонят из школы и отдадут в солдаты. В словах Генкеля Ломоносову послышалась та же угроза.

— Солдатом? — переспросил он, поднимаясь с места.

И вдруг негодование, которое он долго сдерживал, прорвалось через все плотины.

— Солдатской службой пугаете? Мне, русскому, немецкой военной службой грозите? Наглец!

И, выпрямившись во весь рост, Ломоносов ударил кулаком по столу так, что задребезжала лабораторная посуда.

— Уходите! — крикнул Генкель.

— Я и сам не останусь! — ответил Ломоносов и прибавил несколько немецких ругательств.

Выйдя из лаборатории, Ломоносов прошел к себе. Он жил рядом. Его комната отделялась от лаборатории довольно тонкой стенкой.

Из лаборатории доносился голос Генкеля. Ломоносов почувствовал новый прилив гнева. Он несколько раз сильно ударил в стену кулаком. Потом подошел к окошку, выходившему на улицу, и широко его растворил.

«Генкель лучше всего боится, как бы на его счет каких-либо толков не было. Любит, дабы все шло гладко. Так я же его проучу!» решил Ломоносов.

Он высунулся из окошка, набрал воздуха в свои могучие легкие и крикнул во весь голос:

— Горный советник Генкель — негодный человек!

Потом, увидев на своем столе учебник, написанный Генкелем, Ломоносов швырнул книгу на пол с такой силой, что из переплета посыпались листы. И хотя книга была полезная и Ломоносов купил ее на последние деньги, он почувствовал такое удовлетворение, как будто расправился с самим Генкелем.

На следующий день Ломоносов не пошел в лабораторию. Он не привык сидеть без дела, но на этот раз, взглянув на толстый латинский учебник химии, отодвинул его в сторону. Нужно было прежде решить, что делать дальше.

«Ежели в академию жалобу напишу, то вместо помощи токмо выговор получу. А не имея и единого талера в кармане, можно у одного Генкеля учиться, ибо ему академия за нас платит», думал Ломоносов.

Оставался один выход: надо было мириться с Генкелем.

Но для этого приходилось просить извинения, а заставить себя пойти на поклон Ломоносов мог только с величайшим трудом.

«Легче бы мне руками кусок железа согнуть, нежели иною перед сим господином горным советником сгибать», подумал Ломоносов.

К вечеру он все же написал Генкелю письмо на латинском языке.

«Ваши лета, ваше имя и заслуги побуждают меня объяснить, что мои слова были вызваны досадой, которую вызвали брань и угроза отдать меня в солдаты. Я говорил не вследствие злого умысла, а потому, что был невинно оскорблен. Ведь даже знаменитый Вольф, выше обыкновенных смертных поставленный, не считал меня таким бесполезным человеком, который годен только на то, чтобы растирать яды», писал Ломоносов.

И в конце письма он спрашивал, продолжает ли Генкель еще испытывать «гнев, неважною причиной возбужденный».

«Я уверен, что вы в учениках своих скорее друзей, нежели врагов видеть желаете. Итак, ежели ваше желание действительно таково, то прошу вас меня о том известить», закончил письмо Ломоносов.

Горный советник Генкель не желал терять ученика: это было невыгодно. Но, прочитав письмо Ломоносова, он сказал недовольно:

— Не столько прощения просит, сколько свою правоту утверждает. Да еще извещает, что меня простить соблаговолил!

На письмо Ломоносова он не ответил, а сказал своим ученикам:

— Передайте господину Ломоносову, что он может прийти, принести извинения и приступить к занятиям.

Через два дня Ломоносов пришел в лабораторию. С трудом, точно выдавливая из себя слова, он сказал коротко, что раскаивается в своей вспыльчивости.

Генкель ответил, что следует почтительно относиться к старшим, а к учителям и начальникам особенно. Потом предложил приступить к занятиям.

Ломоносов опять стал бывать в лаборатории. Но гнев, который удалось подавить на время, не проходил. Он искал выхода, точно пар, который готов вырваться из котла, как только будет ослаблена туго завинченная крышка.

Весной произошел взрыв.

В Марбурге Ломоносов привык сам распоряжаться деньгами, которые получал от академии. Теперь это делал Генкель. А он был бережлив до скупости. И если узнавал, что кто-нибудь купил лишнее, говорил с негодованием:

— Мотовство!

Канцелярия Академии наук, поручая Генкелю позаботиться, чтобы русские студенты не наделали долгов, распорядилась выдавать им на руки не больше одного талера в месяц.

Это значило, что придется получать всего восемьдесят копеек на русские деньги в месяц.

— Мы уже не школяры, кои без учительского надзора шагу ступить не могут. А я и малым ребенком не любил по чужой указке ходить, — сказал Ломоносов, когда Генкель объявил, что будет выдавать лишь мелочь на карманные расходы.

Однако, вспомнив выговор от академии за долги, сделанные в Марбурге, не стал спорить.

«После уладится», думал Ломоносов.

Прошла зима, а дело не улаживалось.

Однажды, истратив талер до конца месяца, Ломоносов решил сделать в долг какую-то мелкую покупку.

В маленьком Фрейбурге продавцы обычно знали в лицо своих покупателей и не всегда требовали немедленной уплаты.

Но когда Ломоносов сказал, что расплатится через несколько дней, лавочник только улыбнулся.

— Я ученик горного советника Генкеля, которого здесь все хорошо знают, и Петербургская академия наук отправила меня учиться в Германию на счет государства, — сказал Ломоносов.

— Однако и господин Генкель не очень верит, что вы можете заплатить долги, — возразил лавочник.

— Кто вам сказал? — спросил Ломоносов.

— Сам господин Генкель.

Ломоносов круто повернулся и вышел.

Каждый день перед вечером Генкель делал небольшую прогулку. Он шел неторопливо по улице, раскланиваясь с знакомыми и останавливаясь поговорить с такими же, как и сам, пожилыми и почтенными людьми. По пути он заходил в лавки знакомых фрейбургских купцов и при случае рассказывал о новых своих учениках, русских студентах, с которыми немало хлопот, потому что они не умеют беречь деньги. Упомянув, что никто не будет платить их долги, Генкель шел дальше.

Он был уверен, что, предупреждая лавочников, выполняет добросовестно дело, за которое взялся.

Ломоносову уже несколько раз приходилось слышать недоверчивый вопрос: «А деньги есть?»

Он догадывался, что кто-то пустил слух о слишком больших долгах, которые он сделал в Марбурге. Теперь он понял: сам Генкель распространил этот слух.

На следующий день Ломоносов, придя в лабораторию, сказал Генкелю:

— Мне надобны деньги на мои расходы.

Генкель, как всегда спокойный и самоуверенный, пожал плечами и ответил:

— Я выдал уже вам карманные деньги на месяц. А месяц не кончился.

— Академия посылает достаточно денег на наше содержание. Я желаю их получать, а не выпрашивать, — возразил Ломоносов.

— Я просил Санкт-Петербургскую академию увеличить выдаваемые вам деньги. Но она даже то, что мне должна за ваше обучение, не посылает вовремя. Я вынужден буду уменьшить и ту плату, которую вношу за ваши обеды, — сказал Генкель.

— Как вы смели говорить всем, что нам нельзя давать денег в долг? — спросил Ломоносов.

— Ваша академия предупредила меня, что не будет платить ваши долги, и предложила мне сообщить об этом всем, кто мог бы пострадать, оказав вам доверие, — ответил Генкель.

Ломоносов не смог сдержать гнев.

— Вы все покупки для нас делаете в лавке вашего тестя. Доставляете ему прибыль, вот в чем дело, — сказал он, смотря прямо в глаза Генкелю.

В этом обвинении была правда. И именно поэтому оно особенно задело Генкеля.

— Уходите прочь! — крикнул Генкель.

Ломоносов вышел, громко хлопнув дверью.

Во дворе он встретил жену Генкеля. Она была всегда так же аккуратно одета и так же довольна собой, как и сам горный советник.

— Ваш муж тупица и скряга! Прочь с дороги! — крикнул ей Ломоносов и добавил несколько бранных слов.

Потом он долго бродил по тихим улицам городка, пока наконец не почувствовал усталость.

К себе Ломоносов вернулся поздно. Он сел у окошка, думая о том, что случилось. И вдруг вспомнил картину, ко-

торую раз видел в Марбурге в доме родителей одного из знакомых немецких студентов.

На одной половине картины были изображены волк, терзающий зайца, тигр, схвативший антилопу, и лошадь, вставшая на дыбы. На другой — нарисован большой человеческий язык, а рядом с ним — маленький человечек, держащий в руке узду. Под картиной была подпись: «Человек может укротить волка, тигра и бешеную лошадь, но труднее всего ему укротить свой язык».

«Ежели бы Генкель имел подобную картину, наверно, теперь показал бы мне», подумал Ломоносов.

Следовало решить, что делать. Возвратиться в лабораторию Ломоносов не мог и не хотел. В Фрейбурге незачем было оставаться. Куда направиться дальше? На какие деньги жить?

В раздумье Ломоносов открыл окошко.

Наступил тихий майский вечер. Из-за ограды дома на противоположной стороне улицы виден был белый силуэт цветущей яблони. Спокойный лунный свет падал на землю.

Ломоносов вспомнил Марбург, откуда он уехал девять месяцев тому назад. Только там был дом, где его встретили бы с радостью.

В детстве мачеха сделала его родной дом чужим. Учась в Спасских школах, Ломоносов вынужден был жить на гроши по чужим углам. В казенном петербургском общежитии комната с двенадцатью деревянными кроватями ценою в десять копеек каждая походила на казарму. Поэтому домашний уют должен был казаться Ломоносову особенно привлекательным. Он почувствовал это, поселившись в семье марбургского цехового старшины Цильха.

Цильх умер несколько лет тому назад. Он оставил жену, подростка-сына и дочь Елизабет, молоденькую девушку. Проходя к себе через комнаты хозяев, Ломоносов всегда заставлял Елизабет с работой в руках. Девушка сидела, склонив голову над вышиваньем, шила или прибирала комнату. Она встречала его приветливой улыбкой и церемонно приседала, отвечая на поклон.

Ломоносов скоро почувствовал ее заботливую руку. Его одежда оказывалась вычищенной, починенной, повешенной на место. В комнате стояли цветы. Если он шутил с ней, она смеялась. А потом старательно поправляла его ошибки в немецком языке.

Молоденькая голубоглазая девушка, заботливая и работающая, с каждым днем правилась ему все больше и больше.

Когда пришлось уехать из Марбурга, Ломоносов уже знал, что и Елизабет Цильх его полюбила.

В Фрейбурге он писал стихи:

Нимфы окол нас кругами
Танцевали, поючи,
Всплескиваячи руками,
Нашей искренней любви
Веселяся, привечали
И цветами нас печали.

Теперь, сидя у открытого окошка в тихий весенний вечер, Ломоносов вспомнил эти стихи, и его неудержимо потянуло в Марбург.

Скитания

На другой день Ломоносов проснулся с твердым решением вернуться в Марбург. Но он любил ясно и точно обдумывать свои планы.

В семье Елизабет Цильх можно было некоторое время прожить, не заботясь о том, на что купить сегодня хлеб. Однако нельзя было жить так долго.

«Нимфы, быть может, нас цветами и увеселяют, но кормить не станут. В Марбурге нечего мне будет делать, ежели там навсегда поселиться. Да и не для того я уехал учиться в чужие края, чтобы родину потерять», думал Ломоносов.

Оставался один выход: побывавши в Марбурге, вернуться в Петербург.

В тот же день к Ломоносову зашел студент Рейзер. Он аккуратно посещал лекции Генкеля и хотя иногда непрочь был покутить, однако горный советник помнил, что отец Рейзера — член берг-коллегии в Петербурге, и относился к студенту благосклонно.

— Господин горный советник спрашивал нас, что ты думаешь делать дальше. А мы и сами не знаем, — сказал Рейзер.

— Генкелю знать про то незначет. А тебе скажу, что в Петербург думаю вернуться, — ответил Ломоносов.

— За самовольное возвращение, пожалуй, не дадут тебе при академии службы, — сказал Рейзер.

— Я в Марбурге физику и химию, а здесь металлургию изучил. Вольф и марбургский профессор химии Дуйзинг успехи мои охотно удостоверят. А Шумахер говорил: ежели указанные вам науки изучите, должность экстраординарного профессора при Академии наук получите. Правда, сей жу-

Лев еще в избе летает. Да не всегда журавли в небе остаются: они и на землю садятся, — возразил Ломоносов.

Прежде чем ехать в Марбург, Ломоносов решил побывать в Лейпциге. Он предполагал, что на лейпцигскую весеннюю ярмарку, куда съезжаются со всей Германии, должен присхать российский посланник граф Кайзерлинг. До своего назначения посланником Кайзерлинг некоторое время был президентом Академии наук. Можно было надеяться, что он поможет вернуться на родину студенту, который был отправлен академией учиться за границу.

Ломоносов решил направиться в Лейпциг, а оттуда проехать в Марбург. До Лейпцига можно было добраться, продав большую часть своих книг.

В Лейпциге Ломоносов не застал графа Кайзерлинга. Зато на ярмарке встретились знакомые марбургские купцы. Возвращаясь, они взяли его с собой.

Ломоносов опять поселился в семье Цильх. Но раньше все было ясно. Он жил как студент, который учится на счет Академии наук и станет при ней работать, когда вернется в Петербург. Теперь ученье кончилось, вернее оборвалось. Денег не было. Никто не смог бы сказать, что будет, когда жалоба Генкеля получится в Петербурге.

«А ну как вместо должности адъюнкта дадут батоги за обиду, учиненную горному советнику?» думал иногда Ломоносов.

В доме Цильхов понимали, что Ломоносов вернулся в Марбург ради Елизабет. Все ждали, когда он заговорит о свадьбе.

Ломоносов не стал колебаться.

Шестого июля 1740 года состоялась свадьба Михаила Ломоносова и Елизабет Цильх.

Немного погодя он выехал в Голландию.

Там в портовом городе Амстердаме можно было найти русские корабли. Туда нередко приходили боты и галиоты из далекого Архангельска.

Недалеко от Амстердама, в городе Гааге, жил российский посланник граф Головкин.

Ломоносов надеялся, что Головкин не откажет в денежной помощи для возвращения в Россию и выдаст нужные бумаги. Если бы это не удалось, оставалась надежда встретиться в Амстердаме архангельских купцов и моряков-поморов, возвращающихся в Россию. В море поморы всегда помогали друг другу, когда случалось сесть на мель. Он тоже был помор и тоже сел на мель.



Улица в Амстердаме.

С голландской гравюры начала XVIII века.

Два лакея в одинаковых красных ливрсах и белых чулках с одинаковой усмешкой посмотрели на покрытый пылью кафтан Ломоносова и не сразу согласились впустить его, когда он пришел в дом российского посольства в Гааге. Секретарь посольства потребовал, чтобы Ломоносов предъявил указ Академии наук о возвращении в Петербург.

А посланник граф Головкин, узнав, что Ломоносов возвращается в Россию самовольно, сказал коротко:

— Что ты в Фрейбурге натворил и не от суда ли ты сбежал из немецкой земли, мне неизвестно. Ни денег, ни бумаг не получишь.

Ломоносов поехал в Амстердам. Там он сразу понял, что попал в город моряков и купцов. Широкие каналы пересекали Амстердам; лодки и небольшие суда плыли мимо домов. Обсаженные деревьями улицы тянулись по сторонам каналов. В большом здании из белого камня, украшенном скульптурами, помещалась ратуша, правившая городом. А недалеко от нее находилась биржа, где заключались торговые сделки на товары, доставлявшиеся со всех концов мира.

В Амстердамской гавани Ломоносов увидел целый лес

мачт. Здесь рядом с голландскими стояли немецкие, английские, французские, датские и испанские корабли. На берегу — в лавках, кабачках и трактирах — говорили, ругались и пели на разных языках.

Как и ожидал Ломоносов, ему удалось встретить здесь архангельских купцов и моряков. Они обрадовались, неожиданно столкнувшись с земляком в чужом городе.

Купцы с сочувствием выслушали рассказ Ломоносова о его странствиях и бедствиях.

В свою очередь они рассказали Ломоносову о своем плавании из Архангельска в Голландию и о торговых делах. Плавание продолжалось несколько недель и в то время было трудным и довольно опасным делом. Небольшие парусные корабли нередко погибали во время бурь. Купцы рассказывали, как продавали в Амстердаме лен, кожи, сало, меха, чтобы на вырученные деньги купить заграничные товары. Они позвали Ломоносова с собой пообедать. Но когда он сказал, что хотел бы вернуться в Россию, не имея нужных бумаг, купцы только усмехнулись.

— Разве не знаешь, зачем надобен пашпорт? Корабль еще в гавань не войдет, а навстречу лодки. В них и таможенные надсмотрщики, и полицейские офицеры, и солдаты. У тебя потребуют бумаги. Тебя спросят: «Говоришь, от академии в чужие края был послан? А где указ о возвращении? А почему пашпорта от российского посольства нет?» Заберут тебя, чего доброго, как сумнительного человека в Тайную канцелярию, — говорили купцы.

Оставалось вернуться в Марбург, написать обо всем в академию и ждать указа.

Деньги, взятые у марбургских знакомых на поездку в Голландию, были на исходе. Ломоносов увязал вещи в котомку и отправился в путь.

Бедные немецкие студенты и подмастерья обычно путешествовали пешком из одного города в другой. На постоянных дворах и в придорожных трактирах им давали ночлег за несколько грошей, а крестьяне иногда пускали переночевать на сеновале даром. Ломоносов шел, как бедный студент, возвращающийся в Марбург.

Однажды вечером недалеко от города Дюссельдорфа Ломоносов зашел в трактир у большой дороги. Здесь он рассчитывал и переночевать.

В трактире расположился отряд прусских гусар.

Ломоносов в первый раз увидел прусских офицеров еще четыре года тому назад, когда ехал в почтовой карете из Любека в Марбург, пересекая Пруссию. Это были высокие

люди, державшиеся так прямо, точно носили на спине под парадным мундиром железную линейку.

С другими пассажирами они разговаривали так, как будто имели право приказывать всем и каждому. А из окошка кареты Ломоносов видел, как маршировали солдаты, держа тяжелые ружья подмышкой, дулом к земле. Они шли, как один человек, и делали в одно и то же мгновение шаги одинаковой величины.

Теперь в придорожном трактире солдаты выглядели совсем иначе, чем в строю. Усевшись вокруг большого стола, они расстегнули узкие мундиры, курили крепкий табак из коротких трубок и пили вино из тяжелых глиняных кружек.

Ломоносов сел поодаль и стал жевать кусок хлеба с тонким ломтиком дешевого сыра. Слегка подвыпивший вахмистр подошел к нему, хлопнул по плечу и сказал:

— Подсаживайся к нам, приятель.

Ломоносов не стал отказываться. Через полчаса он уже пил с солдатами и подтягивал, когда они запели какую-то песню.

Он продолжал пить и неть и тогда, когда у него зашумело в голове, а комната как будто наполнилась туманом.

На следующее утро он проснулся от того, что кто-то сильно тряс его за плечо. Перед ним стоял вчерашний вахмистр с солдатами.

— Вставай! Выступать пора, — сказал вахмистр.

— Ну и выступайте, — ответил Ломоносов, поворачиваясь к нему спиной.

Вахмистр потряс его за плечо еще сильнее и спросил, повышая голос:

— Забыл, что выступаешь с нами?

Ломоносов сел на скамью, с удивлением осматриваясь кругом. Солдаты захохотали.

— Вылей ему ведро холодной воды на голову, тогда вспомнит, — предложил один солдат.

— Бросьте шутить! — сказал Ломоносов.

— А кто вчера в наш полк солдатом завербовался? Забыл, как бумагу подписал и командиру отдал?

Ломоносов смутно припомнил, что вчера как будто действительно появлялся какой-то офицер и похлопывал его по плечу.

— Говорю вам, отвяжитесь! — сказал Ломоносов, и в голосе его послышалась тревога.

— А помнишь, как пил с нами за наш и за твой полк? — напомнил какой-то солдат.

— Да ты и задаток уже получил. Сунь руку в карман, — сказал вахмистр.

В кармане зазвенели монеты.

Ломоносов почувствовал, как дрогнуло от испуга сердце. Он вспомнил, что не раз слышал рассказы о том, как в Пруссии высоких и крепких молодых людей насильно записывают в солдаты. А тот, кто попадал в рекруты, уже не мог уйти. За побег судили, как за дезертирство.

— Я российский подданный, — сказал Ломоносов.

— Когда наш полк в Берлине стоял, я сам видел четырех солдат-великанов, которых ваша царица Анна послала в подарок нашему королю Фридриху-Вильгельму. Их привезли в Пруссию с колодками на ногах под русским же конвоем, чтобы не сбежали в пути. За тебя, что ли, царица станет заступаться? — ответил вахмистр.

Солдаты опять захохотали.

— Довольно разговаривать! Не пойдешь добром, так набьем на ноги колодки и поведем. Упрешься, отведаешь палок. Собирайся! — прикрикнул вахмистр.

— Иду, — ответил Ломоносов.

Когда вышли за ворота, вахмистр построил отряд и приказал двум старым солдатам не спускать глаз с рекрута.

Отряд тронулся в путь. Ломоносов шел и упорно думал. Он старался обдумать свое положение так ясно и точно, как будто разбирал самую трудную и важную математическую задачу, от решения которой зависела его участь.

«Возможно ль жалобу подать, дабы свободу получить?» спрашивал себя Ломоносов.

И, подумав, понял, что жаловаться некому. Освободиться можно было только одним путем: бежать.

План побега надо было тщательно разработать, иначе поймут и будут под звуки барабана бить палками перед строем, пока спина не превратится в кусок окровавленного мяса. Для того чтобы план удался, надо прежде всего не вызывать ни у кого подозрений.

И, выпрямившись во весь рост, Ломоносов зашагал, стараясь не сбиваться с ноги.

Отряд пришел в крепость Везель. Она была построена так, как строились старинные рыцарские замки. Вокруг крепостных зданий возвышался вал, за ним шел глубокий и широкий ров, наполненный водой. За этим ровом шел еще один укрепленный вал, а за ним второй ров, у крепостной стены. Через рвы были перекинuty подъемные мосты.

Когда тяжелые ворота крепости закрылись за отрядом,

Ломоносов почувствовал себя так, как будто попал в тюрьму.

Потянулись дни, похожие друг на друга. Каждое утро солдат выводили на площадь, где происходило ученье. Надо было часами маршировать, вытягивая вперед носок, то вскидывать ружье на плечо, то брать его наперевес, то опускать к ноге, ни на секунду не отставая от других солдат. К концу ученья уставали ноги, ныли руки, болели плечи.

Когда ученье кончалось, Ломоносов заговаривал со старыми солдатами и, точно невзначай, задавал им вопросы. Таким образом он узнал, что от Везеля до соседней с Пруссией границы всего несколько верст. Дорога к ней шла прямо за крепостным валом. У самой границы начинался довольно большой лес. Молодых солдат не выпускали за крепостные ворота. Бежать надо было другим путем.

Взвод, в котором находился Ломоносов, проводил ночь в казарме недалеко от ворот. Ломоносов старался ложиться спать пораньше. Обычно он скоро засыпал. Если же не удавалось заснуть, то притворялся спящим. Старые солдаты перестали обращать внимание на нового рекрута, который, казалось, вполне примирился со своей участью.

Однажды Ломоносов, как всегда, лег спать раньше всех. Закрыв глаза, он долго лежал, ожидая, когда наступит удобная минута. После полупночи он тихонько встал, оделся и сунул в карман кафтана лежавший на столе кусок хлеба. Затаив дыхание, он выбрался из казармы через окошко.

Ворота крепости были недалеко. Но они запирались на ночь, и около них всегда стоял часовой. Ползком, чтобы не попасться на глаза часовому, Ломоносов подобрался к крепостному валу.

На валу, в нескольких десятках шагов друг от друга, стояли часовые. Осторожно продвигаясь вперед, Ломоносов вскарабкался на вал, пользуясь темнотой, незаметно перебрался через него за спиной часового и спустился в ров, окружавший крепость.

Погружаясь в холодную воду, он вздрогнул, но сейчас же почувствовал, что сердце его стало биться спокойно и ровно. Переплыв ров, он так же осторожно вскарабкался на второй вал и снова спустился в ров. Так останавливаясь и прислушиваясь к малейшему шороху, то погружаясь в холодную темную воду, то припадая к земле, то карабкаясь вверх по крутой стене крепостного вала, Ломоносов выбрался из крепости.

Уже начался рассвет. Недалеко от крепости видна была дорога.

Сорвав с шеи красный галстук, который носили немецкие солдаты, Ломоносов бросил его в кусты и быстро пошел по направлению к границе. Он прошел версты три или четыре, как вдруг, точно отдаленный удар грома, прозвучал пушечный выстрел.

Так объявляли тревогу в крепости.

Ломоносов понял, что его схватились. Ему захотелось побежать, но он только ускорил шаг, чтобы прежде времени не выбиться из сил.

Прошло еще с четверть часа. Впереди уже ясно был виден лес, начинавшийся около границы.

«Еще немного, и меня не поймать», подумал Ломоносов.

В ту же минуту, оглянувшись, он увидел вдалеке скачущего во весь опор гусара.

Ломоносов свернул с дороги и через ошетилившееся колючей соломой недавно сжатое поле бросился к опушке леса.

Только добежав до первых деревьев, он снова оглянулся назад. Гусар скакал, пригнувшись к седлу, и нахлестывал лошадь.

Ломоносов вбежал в лес и побежал дальше, не обращая внимания на то, что ветви бьют его по лицу, а кафтан задевает за сучья. Он понимал, что верховой не сможет скакать за ним в лесу без дороги, но продолжал бежать даже тогда, когда граница, по его расчету, давно осталась позади.

Наконец он остановился на лесной поляне. Солнце уже стояло довольно высоко на небе. Широкие листья кленов с причудливо изрезанными краями, местами еще зеленые, местами уже пожелтевшие и покрасневшие, блестели под утренними лучами солнца.

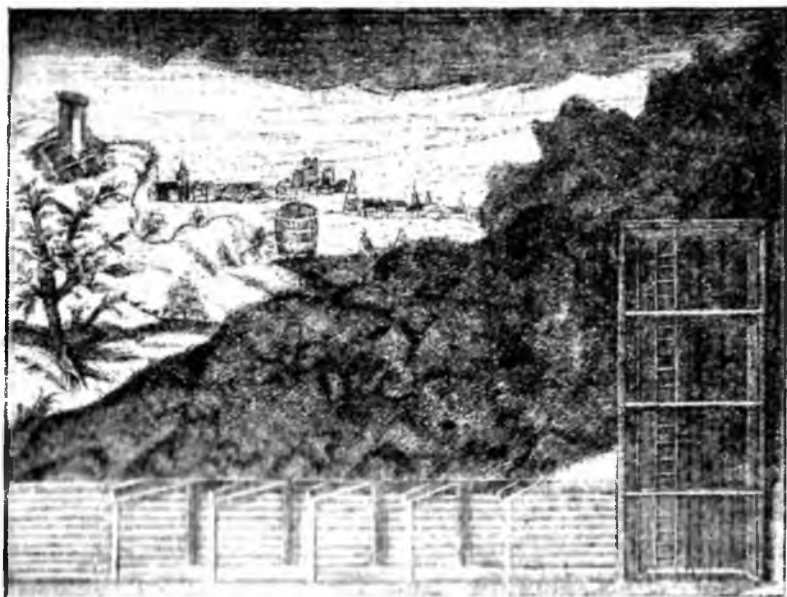
Было совсем тихо. Только где-то размеренно стучал дятел.

Ломоносов понял, что опасность миновала. И вдруг почувствовал глубокую усталость. Он снял верхнюю одежду, еще мокрую после невольного кушанья, и повесил ее сушиться на солнце. Потом сгреб в кучу валявшиеся на земле листья, прилег на них и сразу заснул.

Ломоносов проснулся, когда наступил уже полдень. В лесу было так же тихо и спокойно.

Ему захотелось есть. Он встал, надел кафтан, достал из кармана размокший кусок хлеба и съел его с удовольствием, как самое вкусное кушанье. Потом пошарил в кармане и вынул несколько монет. Это было все, что он имел.

Теперь, возвращаясь в Марбург, надо было сделать крюк, чтобы миновать прусские владения. С такими деньга-



Шахта и рудные.

С. граверы перной половины XVIII века.

ми трудно было проделать этот путь, даже если все время итти пешком. Но сейчас, когда только что миновала настоящая опасность, такие затруднения совсем не были страшны.

«Ежели в подлинной беде не оробел, так перед подобной помехой и подавно робеть нечего», подумал Ломоносов.

Он опять превратился в студента, возвращающегося в свой университетский город.

Путь в Марбург шел через горную страну, богатую железной рудой и каменным углем. Проходя мимо шахт, Ломоносов везде, где только возможно, осматривал рудники. Он хотел своими глазами увидеть все то, о чем рассказывал на лекциях Генкель.

В будках у входа в шахты он разговаривал с штейгерами и рудокопами в черных широких балахонах с рукавами, завязанными у кистей рук, чтобы грязь и пыль не набивались внутрь, в штанах с кожаными наколенниками и в полотняных повязках на головах, туго завязанных, чтобы предохранить волосы от загрязнения. Узнав, что перед ними студент, изучающий горное дело, они обычно разрешали ему спускаться под землю.

Ломоносов осматривал рудники, стараясь ясно и точно узнать все: как производится крепление шахты во избежание обвала, как устроен ворот, поднимающий на поверхность тяжелую бадью с рудой, как действуют насосы, откачивающие подземные воды, чтобы они не залили рудник.

Но он не ограничивался практическими вопросами. Ему хотелось знать, встречаются ли кости вымерших животных и раковины при прокладке шахты, как расположены слои земной коры и нельзя ли сделать во время горных работ наблюдения, помогающие попятить далекое прошлое Земли.

— Великое есть дело достигать в глубину земную разумом и вечной ночью помраченные вещи и деяния выводить в солнечную ясность, — говорил Ломоносов.

Но рудокопы и заведующие шахтами, охотно разъяснявшие, как устроена какая-нибудь лестница, ведущая на глубину нескольких сот сажен под землю, недоумевали, чем интересны какие-то странные, ни на что не годные кости, иногда попадающиеся во время работ, и какое значение имеет расположение тех пластов земли, которые не содержат руды.

«Редко случается любопытное око, умеющее сверх прибили распознать то, что способствует испытанию натуры. Работник тшится, как бы урок или день окончить, а хозяин не везде видит или видеть умест. И так отверсты великим трудом земные недра лежат без любопытного и знающего смотрителя», писал Ломоносов впоследствии, вспоминая свои разговоры с горняками на обратном пути в Марбург.

В начале октября Ломоносов пришел в Марбург. Его кошелек был совершенно пуст. За четыре месяца странствий одежда его изрядно истрепалась. Жене пришлось кормить его и одевать.

В немецких городах того времени строго соблюдался обычай жениться только тогда, когда есть верный заработок, достаточный, чтобы содержать семью. Соседи посмеивались, толкуя, что Елизабет Цильх вышла замуж за человека, который не может прокормить и самого себя.

Надо было во что бы то ни стало попытаться получить хотя бы немного денег от Петербургской академии наук.

Приходилось просить о прощении за самовольный уход от Генкеля и обещать впредь относиться к нему с надлежащим почтением.

Ломоносов написал по-немецки Шумахеру большое письмо. Но каяться он не стал.

«Легко могу себе представить, сколь негодует на меня Академия наук за то, что я без ее ведома из Фрейбурга

ушел. Я почти уверен, что гонитель мой станет радоваться моему дальнейшему несчастью. Но ежели бы ведали, с каким недоброжелательством, притеснением и пренебрежением относился ко мне господин горный советник Генкель и как много вследствие этого я перенес беды и нужды, то, наверное, согласились бы, что я более сочувствия, нежели наказания заслуживаю», начал свое письмо Ломоносов.

Дальше он рассказывал о том, как трудно было иметь дело с Генкелем, особенно тогда, когда нужны были деньги:

«Мы принуждены были раз по десять к нему ходить, чтобы вымолить себе безделицу. При сем он каждый раз с полчаса наставления нам читал, с досадой говоря, что у него денег нет, что академия давно обещала половину следуемой ему платы выслать, по слова своего не держит».

Ломоносов старался доказать, что и лекции Генкеля приносили мало пользы:

«Естественную историю нельзя изучить в кабинете г. Генкеля, из его шкафов и ящичков. Нужно самому в равных рудниках побывать, сравнить положение различных мест, свойства гор и почвы».

В заключение он просил Шумахера выслать деньги, предлагая самостоятельно закончить изучение горного дела, познакомившись с работами в немецких рудниках.

В то время, когда Ломоносов писал свое письмо, в академии уже знали, что он бросил ученье в Фрейбурге. Генкель еще четыре месяца тому назад послал жалобу в Петербург.

Он писал, что сперва считал Ломоносова лучшим из трех русских студентов. «Я видел, что у него светлая голова», вспоминал Генкель. Но потом начались столкновения. Генкель писал, что Ломоносов был непочтителен, не хотел починаться и не умел владеть собой.

Больше всего горный советник был обижен тем, что о его ссоре с Ломоносовым узнал весь город.

«Высунувшись из окошка, он кричал во все горло, не смотря на то, что напротив жил полковник, а по улице в это время проходил офицер», жаловался Генкель.

Однако он все же считал справедливым указать, что Ломоносов приобрел необходимые ему знания:

«Курс металлургии, за исключением некоторых опытов и уроков, пройден еще до его отъезда».

— Ломоносова надобно отозвать без замедления. А на дальнейшее с ним поступить, виднее будет, когда явится. — сказал Шумахер, прочитав письмо Генкеля.

Канцелярия Академии наук отправила два пакета. Один был адресован посланнику графу Кайзерлингу.

Академия наук просила Кайзерлинга вызвать к себе студента Ломоносова и отправить его в Россию, дав деньги на дорогу. В другом пакете находилось письмо Шумахера к Генкелю.

«Повидимому, приходится думать, что с этим человеком вряд ли удастся достигнуть за границей предполагаемой цели», писал Шумахер про Ломоносова.

И, сообщив, что непокорный студент отзывается в Россию, добавил:

«Потрудитесь показать вид, что вы ничего не знаете, дабы человек этот не вздумал скрыться».

Граф Кайзерлинг с недоумением прочитал письмо из академии. Русский студент Ломоносов у него не появлялся. Где можно его найти, Кайзерлинг не знал.

Только поздней осенью Петербургская академия наук узнала, где надо искать Ломоносова. Генкель известил Шумахера, что студент Рейзер получил письмо от Ломоносова, вернувшегося в Марбург. А вслед за тем Шумахер получил письмо и от самого Ломоносова.

На просьбу Ломоносова дать средства для дальнейшего изучения горного дела в Германии Шумахер не обратил внимания, но деньги на обратный путь решил послать. Эти деньги дошли до Ломоносова только весной 1741 года. Он начал собираться в дорогу.

Взять с собой жену Ломоносов не решился, так как сам не знал, что ждет его в Петербурге. Поэтому он условился с Елизаветой, что напишет, когда можно будет к нему приехать.

Потом он уложил в дорожный сундук вместе с одеждой и самыми необходимыми вещами «Физику» Христиана Вольфа, несколько латинских книг по химии, стихотворения Гюнтера и толстый учебник риторики, по которому за границей студенты учились искусству красноречия.

На дно сундучка легли две рукописи на латинском языке, написанные твердым, отчетливым, крупным почерком. Это были первые «рассуждения» Ломоносова по физике и химии, которые он написал, когда заканчивал ученье у Вольфа. Ломоносов хотел представить их в Петербургскую академию наук как доказательство того, что учился за границей не напрасно.

В мае 1741 года Ломоносов выехал в город Любек, чтобы плыть оттуда в Петербург.

Снова в Петербурге

Ломоносов прибыл в Петербург на немецком корабле восьмого июня 1741 года. Он взвалил на плечи дорожный сундучок и вышел на берег. В России Ломоносов не был почти пять лет и теперь испытывал радостное волнение.

Вокруг звучала родная русская речь. И даже лица грузчиков и матросов, толпившихся на берегу, казались знакомыми и близкими.

Стоявшие на набережной извозчики в широкополых шляпах и в кафтанах, подпоясанных желтыми кушаками, увидев приезжего, закричали наперсбой:

— Садись, подвезу!

— Ко мне пожалуй!

После короткого торга Ломоносов нанял извозчика за пять копеек и поехал на Васильевский остров.

По дороге он с любопытством смотрел по сторонам и как будто совсем по-новому видел Петербург.

Широкие улицы немного напоминали ему Амстердам. Но в Амстердаме нельзя было встретить рядом с прекрасным двухэтажным каменным домом простую мазанку.

Встретилась изысканная карета, как будто выточенная из цельного куска черного дерева, запряженная шестеркой кровных лошадей. Два форейтора, схавшие впереди, и два лакея на запятках были одеты в зеленые ливреи с золотыми галунами, а впереди бежал в такой же одежде скороход.

На узеньком деревянном тротуаре стоял нищий старик в холщевых портках, рваных настолько, что, казалось, они состояли из одних заплат и дыр. Через дыры видно было грязное желтое тело.

Роскошь, которой щеголяли знатные дворяне, приводила к унижению крестьян. И, несмотря на строгие меры, которые полиция принимала против нищих, они продолжали появляться на столичных улицах.

Дома вельмож напоминали дворцы и могли сделать честь любой европейской столице. А когда переехали по плоскотному мосту через Неву на Васильевский остров, Ломоносов увидел около здания Академии наук босых мужиков, выгружавших лес с барки, и баб, полоскавших одежду с набережной Невы, как с берега деревенской речки.

Наконец извозчик остановился у ворот того самого дома, где Ломоносов жил перед отъездом за границу.

Ломоносов рассчитывал найти здесь своих товарищей по Славяно-греко-латинской академии, вместе с которыми он

был вызван в Петербург зимой 1735 года. Но здесь уже жили другие жильцы. Оказалось, однако, что один из прежних товарищей, Иван Голубцов, служит в Академии наук переводчиком и живет неподалеку.

Ломоносов вспомнил, что, еще подъезжая к Васильевскому острову, слышал глухой выстрел пушки. Этот выстрел раздавался ровно в полдень, и все учреждения закрывались после него на три часа. Служащие уходили домой, чтобы пообедать и, по старинному русскому обычаю, еще не исчезнувшему в то время и в новой столице, поспать после обеда.

Надо было поторопиться, чтобы застать Голубцова до конца обеденного перерыва.

Голубцов действительно оказался дома.

Когда Ломоносов уезжал из Петербурга, Голубцов был двадцатилетним юношей, добродушным и веселым, который непрочь был иногда покутить, но вместе с тем умел упорно и много работать. Теперь он стал старше, солиднее и в значительной степени утратил прежнюю мягкость.

Голубцов обрадовался старому товарищу, но когда стал рассказывать, как жил и учился, в его голосе послышалось такое же раздражение, с каким когда-то говорил Ломоносову о своей работе канцелярист Академии наук Соколов.

Пересылка письма по почте из Петербурга в Марбург стоила два-три рубля, и бывшие ученики Славяно-греко-латинской академии не могли переписываться с уехавшими учиться за границу. Поэтому Ломоносов почти ничего не знал о том, как прожили его прежние товарищи эти годы. Голубцов рассказал, что вскоре после отъезда Ломоносова Адодуров составил расписание занятий для оставшихся учеников. Они должны были ежедневно заниматься немецким языком и по четыре раза в неделю — латинским, математикой, чистописанием и некоторыми другими предметами. Но расписание это осталось только листком бумаги. В тех классах гимназии, где обучались дети знатных дворян, уроки шли без пропусков, а с приезжими учениками Спасских школ преподаватели занимались, когда вздумается. Даже учитель немецкого языка за два месяца не собрался дать им хотя бы несколько уроков. Эконом Фельтен кормил приезжих учеников плохо и отказывался выдавать им одежду. Между тем он получил деньги из канцелярии за несколько сот аршин полотна на белье ученикам и за десять шкафов для их квартиры, хотя на самом деле купил только два.

Ученики возмутились и решили жаловаться в сенат.

— Так прямо и написали: «Мы и донесли как сле



Невский проспект.

С гравюры Махасва 1753 года.



Карета, запряженная дугом.
С гравюры первой половины XVIII века.

ученья, так и без определения находимся, от чего в великую пришли нищету и убожество. Не токмо верхнего, но и нижнего не имеем платья», — рассказывал Голубцов.

Секретарь сената жалобу принял. В радостном волнении вернулись домой ученики. Но адъютант Адодуров, узнав о жалобе, решил прекратить бунт. Он поспешил в казенный дом, где жили ученики.

— Вам кто жаловаться позволил? Я вам покажу, как сор из избы выносить! — закричал он, отворяя дверь.

— А ты не кричи. Василий Евдокимович. Лучше об учении нашем позаботься. Даром за нас жалованье получаешь. Знаешь, что Фельтен Шумахеру свойственник, и его покрываешь, — сказал ученик Чадов.

— Молчать! — крикнул Адодуров.

— Сам молчи! — ответил Чадов и добавил еще несколько дерзких слов.

— Это тебе даром не пройдет, — сказал Адодуров и вышел.

Потом во двор въехали сани, на которых лежали новые шкафы. За санями шел кругленький, аккуратный одетый старичок, эконо Фельтен, и двое рабочих. Шкафы втащили в дом и хотели поставить в горницу учеников.

— Поздно! Хочешь показать, будто мы напрасно жаловались? Вези шкафы назад! — закричали ученики.

Фельтен приказал поставить вещи силой. Но ученики вытолкнули их вместе с рабочими и самим Фельтеном.

Немного погодя пришел истопник, чтобы вытопить печку.

Ученик Прокофий Шишкарёв сказал неосторожно:

— Вот про немцев говорят, будто они не воры. Однако же и они воруют.

Истопник донес Фельтену. Эконом поспешил с доносом к Шумахеру, а тот передал донос президенту академии.

Барон Корф приказал:

— Чадова и Шишкарёва наказать батогами.

А Шумахер распорядился собрать всех учеников и в их присутствии высечь Чадова и Шишкарева.

Потом он заявил ученикам, что Фельтен обвиняется ложно: эконо́м купил и полотно и мебель, но не успел выдать ученикам.

В заключение Шумахер сказал, что Фельтен отказался иметь дело с неблагодарными учениками и канцелярия будет теперь выдавать им по три рубля в месяц на все расходы.

Фельтену на содержание каждого ученика давалось гораздо больше. Однако скоро выяснилось, что и эти три рубля не выплачиваются вовремя.

— Сколько раз в канцелярию писали: «В самой крайней находимся нужде, так что не токмо обуви и платья, но и дневной не имеем пищи». Месяцами ходили и кланялись, дабы трешиницу получить, — рассказывал Голубцов.

Только через два года бывших учеников Спасских школ произвели наконец в студенты. Каждому выдали кафтан из «дикого сукна», парик, шингу, сапоги, башлык и холщевую рубашку ценою в семь копеек. Жить же пришлось в прежней нужде. Два года слушали студенты лекции профессоров, которые являлись на занятия неаккуратно, так как считали это дело помехой для своей научной работы.

Наконец устроен был экзамен. Ивану Голубцову и еще трем лучшим студентам профессора дали вполне одобрительные аттестаты. Однако на службу при академии их приняли только переводчиками. Остальных назначили в геодезисты.

— Мы просим Шумахера, дабы нам хотя бы переводы давали, к тем наукам относящиеся, коим мы учились. А нам дают канцелярские бумаги переводить. Скоро и то, чему учились, позабудем, — жаловался Голубцов.

— Я, в Марбурге и в Фрейбурге учась, тоже не всегда своим жребием бывал доволен. Генкель только о том и думал, как бы за наше обучение побольше денег получить. А когда я от него самовольно ушел, то чуть было и вовсе не пропал, — ответил Ломоносов.

— Еще натерпишься. Василий Евдокимович Адодуров умел с Шумахером ладить, да и то увидал, что нет ему в академии пути. Нонешней весной перешел из адъюнктов академии в ассесоры Герольдмейстерской конторы, — сказал Голубцов.

Ломоносов узнал от Голубцова, что барон Корф давно уже назначен русским посланником в Данию. Его преемник прослужил недолго, и теперь в академии ждут назначения нового президента. А Шумахер пока вершит все дела вместо президента.

Когда обеденный перерыв кончился, Ломоносов пошел в канцелярию академии. Он положил в карман свидетельства об ученье, которые получил от Вольфа и марбургского профессора химии Дуйзинга. Шумахер принял его сухо, но довольно вежливо.

Он взял удостоверения, выданные Ломоносову марбургскими профессорами, и внимательно их прочитал.

Христиан Вольф писал на латинском языке:

«Молодой человек с прекрасными способностями, Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики и с особенной любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то со временем, возвратившись в отечество, сможет принести пользу государству, чего от души желаю».

Профессор Дуйзинг отзывался так же одобрительно: «Весьма достойный и даровитый юноша, Михаил Ломоносов с неутомимым прилежанием слушал лекции химии, читанные мною в течение 1737 года, и извлек из них немалую пользу».

— О знаниях ваших будет судить профессорская конференция. Надеюсь, что успехи ваши в науках окажутся лучше вашего поведения. А теперь дайте отчет в своих поступках, — сказал Шумахер.

Ломоносов стал рассказывать, как шло ученье в Фрейбурге у горного советника Генкеля.

Когда Шумахер разговаривал со знатными персонами, изредка заходившими в кунсткамеру, у него было приветливое лицо человека, который искренне хочет чем-нибудь услужить собеседнику. Когда он отдавал приказания в канцелярии, у него было надменное лицо начальника, не терпящего возражений.

— Смотрит на нас не как на людей, а как на пни, — говорили его подчиненные.

Но обычно на его лице было полное равнодушие. Казалось, он глядит на других так же безразлично, как на стены своей библиотеки. И теперь Ломоносов чувствовал, что Шумахер смотрит на него, как на пустое место.

Шумахер ждал, что провинившийся студент начнет извиняться. Но Ломоносов говорил уверенно и громко, как будто не оправдывался, а обвинял.

— Генкель хотел... — сказал Ломоносов.

— Господин горный советник Генкель, — поправил Шумахер внушительно.

Ломоносов повторил титул Генкеля, но сказал, что горный советник хотел как можно больше получать за обучение русских студентов, не думая об их нуждах.

— Господин горный советник почтенный человек, — сказал Шумахер.

— Никто лучше не знает, как сапог ногу давит, нежели тот, кто его носит, — ответил Ломоносов немецкой поговоркой.

— О господине Генкеле довольно. Говорите о себе, — сказал Шумахер твердо.

Когда Шумахер обдумывал приказ о новом назначении кого-либо из подчиненных, то всегда спрашивал себя: «Чем это выгодно мне и не слишком ли это выгодно ему?»

Теперь, слушая Ломоносова, он думал, что выгоднее: отчислить ли этого беспокойного и недостаточно почтительного студента, или оставить его при академии?

Многие упрекали академию за то, что она не выполняла одной из своих основных задач: не подготавливала русских ученых. Она существовала уже пятнадцать лет, а попрежнему не было ни одного русского профессора. И вдобавок ушел единственный русский адъюнкт — Адодуров.

Шумахер понимал, что в своих собственных интересах должен провести в адъюнкты хотя бы одного или двух русских людей.

К тому же Академия наук несколько раз в год должна была издавать торжественные поздравительные оды по случаю царских именин, дня рождения или дня восшествия на престол. Ломоносов же еще из-за границы прислал оду на взятие Хотина. Полезно было выяснить, не пригодится ли он для писания поздравительных стихов.

Шумахер пришел к решению: надо выждать.

Ломоносов упомянул, что привез с собой два рукописных сочинения по физике и химии, одобренные профессорами в Марбурге.

— Сочинения ваши, приведя в должный вид, подайте на рассмотрение профессорской конференции Академии наук. А пока учините описание минералов, хранящихся в кунсткамере. Над занятиями вашими наблюдение поручу господину профессору Амману. От вашего усердия и благоразумия, которые раньше недостаточно проявлялись, зависит дальнейшая ваша судьба, — сказал на прощанье Шумахер.

На другой день Ломоносов повидал и расспросил еще

двух своих бывших товарищей по Спасским школам, работавших теперь переводчиками при Академии наук, потолковал со знакомым академическим канцеляристом и побывал в академической книжной лавке. Оказалось, что за четыре с половиной года, которые он провел за границей, ничто не изменилось в Академии наук.

Так же, как и раньше, академики были заняты своей научной работой. Два академика, совершавшие длительное путешествие по Сибири, присылали описания неизвестных раньше растений, материалы для истории Сибири, образцы одежды и утвари сибирских народов для кунсткамеры. Академик Делиль почти каждую ночь делал наблюдения на астрономической башне, академик Вейтбрехт изучал физиологию человека, а академик Крафт работал в прекрасно оборудованном физическом кабинете. И попрежнему все они уклонялись от обучения русских студентов, говоря, будто некого учить.

Так же, как и прежде, Академия наук издавала ежегодно календарь, в котором, кроме обычных календарных сведений, помещались общедоступные научные статьи, и выпускала два раза в неделю «Санкт-Петербургские ведомости», заполняя эту единственную русскую газету почти исключительно сообщениями, взятыми из иностранных газет. Русские читатели своевременно узнавали о рождении или смерти какого-нибудь немецкого принца или о том, что австрийский император «изволит при всяком благополучии забавляться чаплинною и протчими ловлями», но им почти ничего не сообщали о том, что делается в России.

Как и прежде, дважды в неделю выходили «Примечания на «Ведомости», содержавшие научно-популярные статьи. Ломоносов не мог не прочесть с интересом помещенные в «Примечаниях» за первое полугодие 1741 года статью о проекте подводной лодки, которую будто бы изобрел немецкий коммерции советник Орфирей, и изложение наблюдений над жизнью пчел, производившихся французским академиком Моранди.

Власть Шумахера стала еще больше после ухода президента Академии наук барона Корфа. Шумахер стал управлять Академией наук не только на деле, как это было раньше, но и формально, в ожидании, пока звание президента будет пожаловано какому-либо вельможе.

Канцелярия выдала Ломоносову деньги на жизнь из остатков сумм, отпущенных сенатом на обучение трех студентов за границей, и отвела в большом каменном доме для служащих две маленькие каморки.

Академик Амман жил в том же доме.

Ломоносов, придя к нему в первый раз, не сразу понял, что попал в жилую квартиру. Передняя, в которую впустил его служитель Аммана, была вся заставлена ящиками, кадушками и горшками с землей. Ящики были наполнены черной землей, видимо приготовленной для посева, в некоторых горшках и кадушках зеленели какие-то всходы, а в других поднимались растения с листьями разной формы и величины.

То же самое было и в следующих двух или трех комнатах, где стояли не только горшки и кадушки, но и полки, на которых были разложены большие папки с тщательно засушенными растениями. Это был гербарий, который Амман собирал в течение многих лет. Говорили, что в его папках хранятся пять тысяч различных растений.

Амман принял Ломоносова в своем кабинете, уставленном книгами с книгами в желтых кожаных переплетах, с корешками, на которых можно было прочесть латинские названия ботанических сочинений.

Академику еще не исполнилось и тридцати пяти лет, но у него было болезненное лицо как будто навсегда уставшего человека.

Как и другие натуралисты того времени, Амман был знаком со всеми «тремя царствами природы» — знал ботанику, зоологию, минералогию — да сверх того в студенческие годы изучал и медицину. По-настоящему интересовали его, однако, только растения: он собирал их и тщательно рассматривал корни, стебли, листья, цветы, чтобы определить вид и найти латинское название. И когда удавалось найти название, он считал настоящую работу законченной: оставалось только засушить растение и положить в гербарий. Изучение ботаники сводилось к определению растений, да и сам он немного напоминал тщательно и аккуратно засушенное растение, пожелтевшее между листьями гербария.

Он принял Ломоносова вежливо, но равнодушно.

— Академия наук имеет немалые коллекции минералов, приобретенных и за границей и в Российской империи. Определять их сможете, пользуясь латинской книгой Кенига «Царство минералов», получив ее в библиотеке академии, и другими пособиями, — сказал Амман по-немецки.

Ломоносов ответил, что знает книгу Кенига и не раз определял по ней минералы, обучаясь в Фрейбурге у горного советника Генкеля.

После короткого разговора с Амманом Ломоносов понял,

что профессор не только не собирается вмешиваться в его работу, но и не станет ею руководить.

На другой день Шумахер сам указал Ломоносову большой шкаф в кунсткамере, в котором стояли ящики с различными минералами и кусочками руды.

— По моему предложению, печатается подробное описание на латинском языке сего музея, состоявшего в моем ведении. И вам надлежит составить свою часть с должной тщательностью. Другой молодой человек, Теплов, под наблюдением господина Аммана составляет описание гербариев для сего же издания, — сказал Шумахер.

Ломоносов понял, что, поручив ему эту работу, Шумахер сделал выгодное дело. Только немногие европейские музеи имели подробные каталоги своих коллекций. Полное описание кунсткамеры на латинском языке должно было поднять во мнении ученых и этот музей и его бессменного хранителя.

«Господин Шумахер говорит с учтивством, а на деле вместо кочерги меня употребить хочет, дабы жар себе загребать», подумал Ломоносов.

Работа по описанию минералогических коллекций кунсткамеры была, однако, полезна во всех отношениях. И Ломоносов решил приступить к ней немедленно.

На пороге Академии наук

Каждое утро Ломоносов поднимался по широкой лестнице кунсткамеры, проходил по ее залам, где в эти часы не было ни одного посетителя, и, вынув из высокого дубового шкафа ящики с минералогической коллекцией, принимался за работу. Он внимательно всматривался в каждый кусочек камня, перелистывал толстые латинские книги, читая описания различных минералов, и исписывал своим четким, крупным почерком большие листы толстой синеватой бумаги.

Он работал сосредоточенно целыми часами, а когда приходила усталость, вставал и шел в соседний кабинет. Там за столом, на котором были разложены листы гербария, обычно сидел работавший под руководством академика Аммана Григорий Теплов. Это был молодой человек с некрасивым, но умным лицом, на котором выделялись черные глаза и крепко сжатые губы. Он очень умело и успешно делал все: хорошо срисовывал растения по указаниям Аммана, быстро запоминал их названия и тщательно составлял описание.

Ломоносов, однако, скоро заметил, что Теплов не увле-

костей ни рисованием, ни ботаникой. Зато, когда появлялся Амми или сам Шумахер, Теплов весь сразу оживлялся, подтягиваясь, точно игрок, который выжидает минуту, чтобы бросить свой шар в кегельбан. Он всегда умел во-время сказать свое слово или промолчать, если это было выгоднее сделать.

— Знаешь, как с начальством обходиться, Григорий Николаевич, — сказал как-то Ломоносов Теплову после того, как Шумахер вышел из кунсткамеры.

— Чем обходительней поступишь, тем дальше вперед ступишь, — ответил Теплов улыбувшись.

Ломоносов молча повернулся к нему спиной.

Первые две или три недели Ломоносов с увлечением занимался описанием коллекций. Потом работа по составлению каталога начала ему надоедать. Приходилось долго рыться в книгах для того, чтобы в конце концов написать одну строчку: название минерала, который требовалось определить.

«Истинная наука должна понимание вещей давать, а не токмо их названия», думал Ломоносов.

Он охотнее занимался другой работой: отделял и переписывал свои латинские сочинения, привезенные из Марбурга. В одном из них описывался аппарат, состоявший из нескольких двояковыпуклых стекол и зеркал, расположенных так, что преломляемые в стеклах лучи направлялись в одну точку, действуя, как зажигательный прибор. Другое называлось: «Физико-химические размышления о соответствии серебра и ртути».

В июле работа была кончена. Ломоносов отнес рукописи в канцелярию и вручил Шумахеру.

— Отошлю в профессорскую конференцию. Полагаю, что ранее осени господа профессора сочинения ваши не рассмотрят, — сказал Шумахер, как всегда, по-немецки и добавил: — Помнится, вам не чуждо умение слагать русские стихи. Возможно, оно вскоре потребуется нашей Академии наук.

Ломоносов понял, что Шумахер задумывает издание похвальной оды к ближайшему придворному торжеству.

Поставка од для императорского двора была обязанностью академии. И Шумахер действительно думал о том, кому поручить написать очередную оду.

Можно было заказать стихи Василию Кирилловичу Тредиаковскому. Однако Шумахер в последнее время перестал давать ему такие поручения.

Василий Кириллович давно поправился после побоев, которые нанес ему кабинет-министр Волинский. С прежним

усердием он переводил для академии французские книги. Но он чувствовал себя так, как будто носил клеймо: «Битый».

Даже страшная беда, постигшая Воынского, не могла достаточно утешить Василия Кирилловича.

— Когда счастье идет, надобно не только руками, но и ртом хватать и глотать, — сказал Воынский, после того как его назначили кабинет-министром.

Но счастье не пришло. Надо было всегда подлаживать-ся к обер-камергеру Бирону, любимцу императрицы. А Бирон был заносчив и груб. Он любил и ценил только породистых лошадей, которых выписывал на государственный счет, не останавливаясь ни перед какими затратами, из Англии, Германии, Италии, Турции. На содержание придворной конюшни при нем тратилось в два с лишним раза больше денег, чем на Академию наук со всеми ее профессорами и служащими, типографией и другими подсобными учреждениями.

Про Бчрона говорили: «Бирон обращается с лошадьми, как с людьми, а с людьми, как с лошадьми».

— Ныне пришло нам житье хуже собаки: побьют хлыстом, а потом приманят куском, и надобно ласкаться, — жаловался Воынский своим приятелям.

Он стал говорить о том, что между окружавшими его знатными людьми нет единства.

— Нам хлеб не надобен: мы друг друга едим и с того сыты бываем, — сказал однажды Воынский резко.

Он был честолюбив, вспыльчив и неосторожен. Бирон скоро понял, что Воынский — враг.

— Либо ему быть, либо мне, — сказал Бирон императрице.

— Ежели так, то он и мне недруг, — ответила Анна Иоанновна.

Теперь нужен был только предлог, чтобы обвинить кабинет-министра. Когда Воынский избил Тредиаковского в приемной Бирона, предлог нашелся. Обида, нанесенная Тредиаковскому, разумеется, не трогала Бирона, но Бирон считал, что в своем доме может бить людей только он сам.

«Не устыдился обругать побоями некоторого секретаря академии Тредиаковского в моих покоях и тем нанес мне чувствительную обиду», написал Бирон в жалобе, которую подал императрице.

Воынского взяли в Тайную канцелярию, ведавшую судом и следствием по государственным преступлениям. Его знакомые и слуги после пыток показали и то, что было, и

то, чего не было. Нашелся даже свидетель, показавший, будто Волынский мечтал стать русским императором.

В то время еще не понимали, что вынужденные показания не могут являться доказательством обвинения. Даже самые невероятные показания, данные поневоле, были поставлены в вину Волынскому.

У Волынского были друзья, тоже русские люди, не подлаживавшиеся к Бирону и другим немецким сановникам. Их обвинили в том, будто они составляли заговор, и осудили вместе с Волынским.

Через четыре месяца после того, как растаял Ледяной дом, придуманный Волынским, построили эшафот на петербургском Сытном рынке. Волынскому еще в тюрьме вырезали язык, а на эшафоте перед толпой зевак отрубили правую руку и голову.

Оттого ли, что поздравительные стихи, написанные человеком, которого наказывали палками, как лакея, не могли быть особенно лестны, потому ли, что над нескладными рифмами Тредиаковского начали уже посмеиваться, но канцелярия Академии наук перестала заказывать ему оды. Между тем случаи, когда Академии наук нужен был поэт, бывали часто.

В октябре 1740 года умерла императрица Анна Иоанновна. Академия наук получила предписание составить надписи на стенах «печального зала», где лежало тело императрицы.

Академия прислала не надгробные стихи, а прозаический текст, начинавшийся словами:

«Анна, поистине великая императрица, смертью похищенная отсюда и в небесные переведенная жилища...»

По завещанию Анны Иоанновны, императором стал двухмесячный ребенок Иоанн Антонович, сын ее племянницы Анны Леопольдовны. Регентом для управления государством во время малолетства императора был назначен Бирон. Через месяц фельдмаршал Миних, враждовавший с Бироном, арестовал регента. Правительницей государства до совершеннолетия маленького императора была объявлена Анна Леопольдовна, а Бирон отправлен в ссылку.

Академия наук, еще недавно поднесшая поздравительную оду Бирону, теперь должна была поднести оду Анне Леопольдовне. Шумахер поручил профессору Штеллину изготовить оду.

Барону Корфу в то время, когда он был президентом академии, попалось однажды богато иллюстрированное описание иллюминации и фейерверка, устроенных в Лейпциге по случаю избрания саксонского короля Августа польским

королем. Иллюминация была сделана по проекту некоего Штеллина. Латинские подписи под рисунками, изображавшими фейерверки, были сочинены тоже Штеллином. Барон Корф решил, что Штеллин может пригодиться Академии наук, и в 1737 году вызвал его в Петербург.

Оказалось, что это еще молодой человек, который знает понемногу все: может рисовать, составлять проекты иллюминаций и фейерверков, знаком с историей искусств, хорошо знает латынь и даже играет на флейте.

Лучше же всего он изучил одно искусство: умение быть приятным всем, с кем полезно ладить.

Барон Корф сам пришел на конференцию академиков, обычно обсуждавшую кандидатуры в профессора Академии наук, и сказал по-немецки:

— Господина Штеллина назначаю профессором поэзии и латинского красноречия.

Академики удивились, но не возразили. Штеллин стал профессором и членом Петербургской академии наук. Академия была теперь обеспечена проектами иллюминаций и немецкими одами для любого торжественного дня. Но нужны были оды и на русском языке.

Василий Кириллович Тредиаковский говорил:

— Рано или поздно, а без меня не обойдутся.

Но иногда на него нападало сомнение. Он брал с полки книжку, которую перевел с французского и издал десять лет тому назад, «Езда на остров любви». В этой книжке подробно описывался «город Надежда». Василий Кириллович перечитывал описание:

«Превеликая часть того города создана на песке и без основания, чего ради часто оный в прах разваливается. Другая его часть очень твердо основана и, почитай, всегда в целости пребывает. Сей город стоит при реке, которая называется Претензия. Она — река, хотя есть весьма преизрядная, но иногда не безбедственно по ней плавать случается. От чего и дома, которые на ней построены, совсем обваливаются».

Шумахер приказывал переводить оды Штеллина прозой, а к Тредиаковскому не обращался. Василий Кириллович все больше опасался, что еще один дом, построенный в прекрасном городе Надежда, может обвалиться.

Поручив Штеллину написать очередную оду, Шумахер вызвал Ломоносова и сказал ему по-немецки:

— Двенадцатого августа исполняется год со дня рождения его величества. Господин профессор Штеллин напишет к этому времени оду по-немецки составит план фейерверка и иллюминации. Честь академии требует поднести его



Служа казавшему Аполон гонимъ въ Россіи,
 Взоръ Душею твою черны просвѣтитъ снѣ,
 Въ снѣ Тредьяковскій, пророкъ бѣдъ и бѣдъ,
 Какъ ты речеши съ мѣрой и обѣщаешь снѣ;
 Какъ ты мѣришь то снѣрѣхъ хлѣбъ и мѣръ,
 Не бѣдѣ снѣ, снѣрѣхъ хлѣбъ и мѣръ.

величеству поздравительные стихи и на русском языке. Сочините оду, приличествующую случаю.

— В Марбургском университете, где я учился, студенты обучались составлению од в честь важных персон. За лучшие оды университет давал награды в пять, десять и пятнадцать марок, — сказал Ломоносов.

Составление од было настолько обычной обязанностью каждого поэта, что Ломоносов не стал отказываться.

Когда слух об этом дошел до Тредиаковского, он был глубоко задет.

В разговоре Василий Кириллович был ненаходчив и робок. Если его обижали, он закидывал кверху голову, прищуривал глаза, стараясь выразить презрение, и отмалчивался. Иногда в растерянности он начинал сосать палец, на потеху насмешникам.

Зато дома, взяв в руки перо, Василий Кириллович писал основательный, обстоятельный ответ обидчику. Тогда он в свою очередь находил оскорбительные слова, глубоко задевавшие противника.

На этот раз, узнав о поручении, которое получил Ломоносов, Василий Кириллович заперся у себя дома и долго писал и переправлял какие-то стихи. Потом с удовольствием прочитал первую строфу:

В отечество свое как прибыл некто вспять,
А не было его там, почитай, лет с пять,
То завсе пред людьми, где было их довольно,
Дел славою своих он похвалялся больно.

«Михайло Ломоносов тем, поди, думает взять, что из Марбурга от славного профессора Вольфа лестную аттестацию привез. Жители древнего Родоса, бахвальством своим всей греческой земле известные, похвалялись в других эллинских городах искусством пляски, которым-де их город знаменит. Им же отвечали: «Ты не в Родосе, а здесь попляши». Так и я сии стихи закончу: «Здесь Родос для тебя, здесь ну-тка попляши», решил Тредиаковский.

Ломоносов написал оду без большого труда. В ней было сказано все, что полагалось говорить в таких одах. Можно было заметить, что она написана без всякого подъема, «на заказ», и все же стихи звучали гораздо лучше, чем в одах Тредиаковского.

Время, когда Василий Кириллович писал оды, которые подносились императрице, миновало для него навсегда.

Двенадцатого августа в императорском дворце состоялось торжество. Маленький император Иоани Антонович, круглолицый и курносый мальчик, которому в этот день исполнил-

ся год, лежал в позолоченной кровати на большой атласной подушке, завернутый в белые шелковые пеленки.

У него резались зубы, и уже рано утром приставленная к нему няня доложила дежурному камергеру:

— Его величество изволят неутешно плакать.

Немедленно вызвали двух докторов: немца Фишера и португальца дона Рибера Санхоса.

Доктора всегда являлись вдвоем, один высокий, сухой и медлительный, другой низенький, круглый, подвижный, с плутоватыми черными глазами. Они состояли при особе императора и получали за это на всем готовом по три тысячи рублей золотом в год — столько же, сколько президент Академии наук. Ни один из них не имел права лечить императора без другого, и советы свои они должны были давать единогласно. И на этот раз, с важным видом переговорив друг с другом по-латыни, они вынесли единогласное решение: каждые пятнадцать минут давать ложечку сладкой водички.

Потом императора посетила его мать, правительница Российского государства Анна Леопольдовна. Это была женщина еще молодая, но очень ленивая и вялая. Она нередко целые дни проводила не причесываясь и, лежа в капоте на диване, смотрела на клетки с птицами, висевшие у окна ее опочивальни. Говорящий попугай, которого обучала специально приставленная к нему учительница, «иноземка Варландша», хрипло спрашивал одно и то же:

— Вер ист да? Кто там?

А ученый скворец, точно отвечая ему, выговаривал свое имя.

На этот раз ради торжественного дня она встала сравнительно рано и надела великолепное платье, вышитое золотом и украшенное крупными жемчугами.

Вслед за ней явился отец императора, герцог Брауншвейгский Антон-Ульрих, имевший чин генералиссимуса российской армии и не умевший говорить по-русски. Если бы не генеральский мундир, его можно было бы принять за фельдфебеля, так груб был весь его облик.

Увидев жену, принц сделал недовольную гримасу: они не терпели друг друга и ссорились почти при каждой встрече, не стесняясь придворных.

Днем перед дворцом состоялся парад с пальбой из пушек и ружей. Затем высшие сановники Российской империи и знатнейшие придворные явились с поздравлениями во дворец.

В четыре часа дня состоялся торжественный спуск на

воду шестидесятишестипушечного корабля «Иоанн III». А вечером на берегу Невы был зажжен великолепный разноцветный фейерверк. Яркие огни освещали большие щиты с надписями, сочиненными академиком Штеллином. На одном из щитов было изображено молодое лавровое дерево, а по его сторонам — две прекрасные молодые женщины: Вера и Храбрость. Под рисунком светилась латинская надпись: «Так хранимый возрастет».

Шумахер, в новом кафтане вишневого цвета с серебряными пуговицами и в тщательно завитом парике, стоял на набережной рядом с женой и дочерью, любовался иллюминацией и пояснял:

— Так, хранимый верой и храбростью, возрастет молодой император Иоанн III.

На другой день Шумахер вызвал к себе Ломоносова и сказал, что ода на день рождения императора Иоанна Антоновича будет напечатана в ближайшем номере «Примечаний на «Ведомости». Шумахер сказал, что для «Примечаний на «Ведомости», издаваемых Академией наук, надо переводить статьи, которые пишут по-латыни и по-немецки господа академики. И так как профессор Крафт чаще других академиков пишет для журнала, то Ломоносов должен в первую очередь заняться переводом его статей.

Академик Крафт был физик, и рукописи, которые представил Ломоносов в Академию наук, были переданы на его рассмотрение. Ломоносов уже бывал у Крафта и говорил с ним о своих работах. Теперь пришлось постоянно являться в кабинет Крафта за рукописями его статей.

Профессор Крафт был всего на десять лет старше Ломоносова, но давно уже состоял академиком. Он хорошо знал физику и математику, но не сделал больших открытий в этих науках. Зато он умел ясно и точно излагать то, что открыли другие, составил несколько хороших учебников и выписал из-за границы много новых приборов для физического кабинета Академии наук. Крафт всегда был занят и не считал нужным тратить много времени на беседы с русским студентом. Деловито и кратко академик давал ему пояснения, вручая рукописи для «Примечаний», и напоминал, что перевод следует сдать точно в назначенный срок.

Ломоносов переводил статьи Крафта, продолжал составлять описание минералов, хранящихся в кунсткамере, и ждал: когда же начнется настоящая работа?

Он с некоторым недоумением посматривал иногда на Григория Теплова, с которым продолжал встречаться в кабине-

тах кунсткамеры. Теплов работал меньше, но быстрее продвигался вперед: Шумахер и Амман явно к нему благоволили.

И однажды, выйдя вместе с Тепловым из кунсткамеры и встретив Шумахера, Ломоносов вдруг понял, каким образом добивается Теплов этой благосклонности. Увидев Шумахера, Теплов поклонился ему очень низко, но в то же время с некоторым достоинством, так, чтобы сразу было видно: кланяется не лакей, а почтительный молодой ученый.

— Умеешь кланяться, Григорий Николаевич, — сказал Ломоносов с усмешкой.

— Чем ниже сперва поклонись, тем ниже тебе в свое время поклонятся, — ответил Теплов.

«Любую науку изучить могу, токмо науку кланяться не одолеть мне никогда», подумал Ломоносов.

Действительно, прожив за границей больше четырех лет, он не приобрел изящества манер. У него была тяжелая поступь, и если он жал руку, то всегда слишком крепко. Когда он шел по улице, как-то само собой выходило так, что не он уступал дорогу встречным, а они ему. Он прямо и часто резко говорил то, что думал, не стараясь подыскивать приятные для собеседника слова.

— Мужиковат, — отзывался о нем академик Штеллин, умевший нравиться всем, кто мог быть ему полезен.

Прошло больше десяти лет с тех пор, как Ломоносов ушел из родной деревни, но он все еще в разговоре напирал на букву «о» и нередко употреблял слова, принятые только среди поморов.

— Сей пиит холмогорским наречием изъясняется, — говорил Тредиаковский.

Академик Крафт прочитал сочинения, поданные Ломоносовым, но не спешил дать заключение, которое помогло бы Ломоносову превратиться из студента в научного работника Академии наук.

«Благодарный мастер никогда не торопится вывести ученика в подмастерья: подмастерье скоро может сам стать мастером и открыть свою мастерскую на той же улице», рассуждал Крафт.

Но принятому в Академии наук порядку, он должен был доложить поступившую к нему рукопись профессорской конференции. Так назывались собрания академиков, которые должны были по уставу созываться два раза в неделю, но на самом деле бывали гораздо реже. На этих собраниях целиком зачитывались ученые труды, которые представля-

лись в академию. Каждого академика интересовало только то, что касалось его науки. Но они должны были слушать целиком все рукописи, чтобы как-нибудь заполнить заседания. Если нечего было зачитывать на конференции и незачем было собираться, то канцелярия академии напоминала, что следует соблюдать устав, и упрекала академиков в лени.

Когда дошла очередь и до рукописей Ломоносова, академик Крафт прочитал их скороговоркой по-латыни и предложил одобрить. Академики согласились без возражений. Но положение Ломоносова не изменилось. По-прежнему он должен был являться в кунсткамеру описывать коллекцию минералов и время от времени переводить статьи для «Примечаний на «Ведомости».

С составлением описания минералогических коллекций нельзя было медлить: Шумахер живо интересовался этой работой. Он задумал издать каталог кунсткамеры так, чтобы книга выглядела солидно и изящно: на латинском языке, в трех томах, отпечатанных на хорошей бумаге и украшенных виньетками, заставками и концовками.

Для заглавного листа первого тома, в котором описывались зоологические коллекции и анатомические препараты, Шумахер уже заказал виньетку: герб Академии наук — двуглавый орел с богиней знания Минервой на груди, а по его сторонам — разные звери, птицы и человеческий скелет. Тот том, для которого предназначалась работа Ломоносова, должен был заканчиваться изображением рудокопа, везущего в тачке руду.

В начале ноября Ломоносов окончил составление каталога минералов.

Профессор Амман просмотрел рукопись. Описание некоторых минералов было сделано слишком бегло. Но Амман был ботаник, и минералогия его мало интересовала. Образцы минералов и руд, многие годы хранившиеся в шкафах кунсткамеры, теперь были названы. Любой ученый, взяв в руки каталог, мог сразу найти то, что ему нужно. Это было безусловно полезно, и Амман написал одобрительный отзыв.

Шумахер прочитал заключение Аммана, запер бумагу в ящик своего стола и подумал:

«Труд сего студента послужит на пользу кунсткамере. Однако с назначением господина Ломоносова не разумнее ли еще подождать? Как бы не ошибиться, открыв дорогу человеку, не умеющему к наставникам и начальнику с должным почтением относиться».

Но неожиданно произошли такие события, которые за-



*Визитка с заглавного листа каталога
купсткамеры.*

ставили Шумахера поторопиться с назначением русских адъюнктами Академии наук.

Во дворце маленького императора Иоанна Антоновича жизнь продолжала идти так же, как при дворе любого немецкого короля. Немцы занимали придворные должности с длинными немецкими названиями и старательно соблюдали этикет, принятый при прусском, саксонском, баварском и других немецких королевских дворах. Отец императора, герцог Брауншвейгский, устраивал перед дворцом парады русской гвардии, и полковые командиры — за немногими исключениями тоже немцы — заставляли русских солдат шагать церемониальным маршем, принятым в германских полках.

Родная дочь Петра Великого, молодая, веселая и легкомысленная царевна Елизавета, не вмешивалась в государственные дела. При ее дворе очень много танцевали, молодые русские гвардейские офицеры пили вместе с царевной дорогие французские вина, и нередко даже в поздние ночные часы из дворца доносились звуки плясовой музыки.

Правительница Российского государства Анна Леопольдовна не хотела верить, что царевна, занятая только развлечениями, может попытаться взять власть в свои руки.

Молодые офицеры из русских дворянских семейств, окружавшие Елизавету, с неприязнью смотрели на немцев, занявших высшие посты при дворе и в армии.

Эти офицеры задумали выгнать из дворца «брауншвейгскую фамилию» и посадить на престол Елизавету. Веселая царевна приняла участие в заговоре.

Ночью двадцать пятого ноября 1741 года она с несколькими офицерами и отрядом гвардии явилась во дворец. Русские солдаты, стоявшие на карауле, не стали защищать ни правительницу Анну Леопольдовну, ни ее супруга герцога Брауншвейгского.

Царевна Елизавета с несколькими гвардейцами прошла прямо в опочивальню правительницы и разбудила ее. Через несколько минут растерявшуюся Анну Леопольдовну уже вывели из дворца. И только попугай в опустевшей опочивальне продолжал спрашивать:

— Вер ист да? Кто там?

Да ученый скворец что-то бормотал ему в ответ.

Наутро в столице разнеслась весть, что маленький Иоанн Антонович вместе с родителями свергнут с престола.

Немцы, служившие в Петербурге, встревожились. Даже солдаты, привыкшие к строгой дисциплине, стали громко бранить своих немецких командиров, а те делали вид, что не слышат ругани.

Шумахер поспешил выразить преданность новой императрице. Он немедленно заказал академику Штеллину оду ко дню рождения Елизаветы Петровны.

Штеллин написал такие же гладкие поздравительные стихи, какие писал и императрице Анне Иоанновне, и герцогу Бирону, и маленькому императору Иоанну Антоновичу.

Как только ода была готова, Шумахер предложил Ломоносову перевести ее русскими стихами. Ломоносов взялся за эту работу. Новая царица слишком мало думала о государственных делах, чтобы завести новые порядки, но все же было гораздо приятнее видеть на престоле дочь Петра Великого, чем маленького сына герцога Брауншвейгского. Вместе с тем появилась надежда, что теперь русским не придется уступать немцам дорогу в своем государстве.

Ломоносов написал торжественные и звучные стихи. Русская ода оказалась удачнее немецкой, написанной Штеллином. Ломоносов мог с полным правом думать, что он стал нужен академии не меньше, чем Штеллин, который умел писать немецкие оды и составлять проекты фейерверков, но не занимался наукой. К тому же можно было рассчитывать, что Шумахер поспешит теперь открыть двери Академии наук русским ученым.

Третьего января 1742 года Шумахер действительно подписал приказ о назначении русского адъюнкта: за успехи в



Переворот 25 ноября 1741 года.

С медали 1741 года.

Царевна Елизавета во главе отряда солдат гвардейского Преображенского полка. На медали латинская надпись: «Восстановила государство отца, победив в одну только ночь».

науках был произведен в адъюнкты Григорий Теплов. Ломоносов решил действовать немедленно и твердо.

«Ежели дожидаться, пока Шумахеры о тебе позаботятся, так, чего доброго, век не дождешься. Может быть, кто-либо похвалит за скромность, да путь тебе никто не проложит, когда не проложишь сам. Да и зажегши светильник, его под стол не ставят», думал Ломоносов, тщательно заостряя перочинным ножом гусиное перо, чтобы писать заявление в канцелярию Академии наук.

Потом стал набрасывать черновик. Напомнив, что академия сама послала его учиться за границу, Ломоносов писал:

«Я не токмо указанные мне науки принял, но в физике, химии, натуральной истории горных дел так произошел, что оным других учить и к тому принадлежащие полезные книги с новыми инвенциями писать могу».

Такое заявление звучало самонадеянно. Но Ломоносов не стал его изменять.

«Что я могу сделать и чего не могу, мне самому лучше, нежели Шумахеру, известно», думал он, перечитывая написанное.

На следующий день Ломоносов вручил бумагу Шумахеру. Шумахер прочитал ее и, недовольно сдвинув брови, взглянул на Ломоносова.

Тот стоял перед ним, слегка расставив ноги, как когда-то на палубе отцовского корабля перед началом шторма, прямой, высокий и сильный.

«Этот мужик не позволит наступить себе на ногу», подумал Шумахер.

И, немного помолчав, сказал:

— Я и сам собирался ныне учинить представление о назначении вашем на должность адъюнкта физики.

Через несколько дней Ломоносов был назначен адъюнктом. Он мог теперь делать то, к чему стремился: исследовать законы физики и преподавать студентам, обучавшимся при Академии наук.

Преграды, стоявшие на его пути, были сломлены. Перед ним открылась широкая дорога. Ломоносова ждали впереди новые препятствия и новая борьба. Но самое трудное уже было позади. Годы ученья и странствий кончились. С ними кончилась и юность Ломоносова.



СЛОВАРЬ СТАРИННЫХ СЛОВ

- Авантаж** — преимущество, превосходство.
- Адъюнкт** — научный сотрудник, работающий под руководством профессора и помогающий ему в научной работе.
- Академия де-сисенс** — Академия наук.
- Аки** — как.
- Алебарда** — старинное оружие в виде топора с длинной рукояткой и с лезвием в форме полумесяца.
- Алтын** — три копейки.
- Антиквитеты** — древности.
- Аттестация** — свидетельство, аттестат.
- Аще** — если.
- Базиль** — Василий.
- Баталия** — битва, сражение.
- Батоги** — палки.
- Бреги** — берега.
- Вельми** — весьма, очень.
- Виктория** — победа.
- Вития** — оратор.
- Втуне** — напрасно, тщетно.
- Генеральный** — общий, главный.
- Глаголать** — говорить.
- Глас** — голос.
- Гораздо** — очень.
- Град** — город.
- Дабы** — чтобы.
- Денежка** — полкопейки.
- Доброхотство** — доброжелательство.
- Довольствоваться** — содержать, кормить.
- Егда** — когда.
- Естество** — природа.
- Жеребий** — судьба.
- Заводчик** — начинщик.
- Завсе** — всегда.
- Зазор** — стыд.
- Зане** — потому что.
- Зело** — очень.
- Зрит** — видит.
- Ибо** — потому что.
- Иже** — который.
- Извенция** — изобретение, открытие.
- Кой, кои** — который, которые.
- Кормщик** — водитель поморского судна.
- Курьозитё** — любопытство, интерес.
- Курьозный** — интересный, занятный, причудливый.
- Материя** — вещество.
- Материя стиха** — содержание, предмет стихотворения.
- Монстр** — урод, чудовище.
- Нарицать** — называть.
- Натура** — природа.
- Недра** — внутренние части.
- Нежели** — чем.
- Обетованный** — обещанный, изобильный.
- Облыжно** — ложно.
- Ода** — торжественное поздравительное или хвалебное стихотворение.

О н ы й — тот.
О п о ч и в а л ь н я — спальня.
О р д е р — приказ.
О р и е н т а л ь н ы й — восточный.
О т р о к — подросток.

П е р с о н а — человек, важное ли-
цо.
П и и т — поэт.
П и н т и к а — поэтика, наука о
стихосложении.
П о д ь я ч и й — служащий в уч-
реждениях Московского государ-
ства, приказах.
П о к о й — комната.
П р и в а т н ы й — частный.
П р и в е ч а т ь — приветствовать.
П р и с н о — всегда.
П р о т е к ц и я — покровительство.
П у щ е — больше.

Р а ч е н и е — старание.
Р е в н о с т ь — усердие.
Р и т о р — оратор.
Р и т о р и к а — ораторское искус-
ство.
Р у д о з н а т е ц — инженер-геолог,
исследователь руд.

С а м о г л а с н ы е з в у к и — глас-
ные звуки.
С б и т е н ь — напиток из горячей
воды, меда, имбиря и других
пряностей.
С е й, с и я, с и е — этот, эта, это.

С л а в н ы й — знаменитый.
С п о л о х — северное сияние.

Т а к о ж д е — также.
Т я л е р — немецкая монета, рав-
нявшаяся восьмидесяти копей-
кам.
Т о к м о — только.
Т щ и т ь с я — пытаться, стараться.

У п о в а т ь — надеяться.

Ф о р е й т о р — верховой, сидя-
щий на одной из лошадей пе-
редней пары в упряжке цугом.

Х у д о ж е с т в о — умение, ремес-
ло, производство, искусство.

Ц у г — упряжка из нескольких
пар лошадей, запряженных вере-
нцей.

Ч а п л и н н а я л о в л я — охота на
цапель.

Ч а я т ь — надеяться, думать.

Ч е с т н ы й — почетный.

Ч и н — сословие, звание.

Ш и т а я р о ж а — татуированное,
покрытое узорами лицо.

Ш л я х е т с к и й — дворянский.

Я к о — как.

Я с т и — есть.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Детство	7
В школе	22
Новый мир	42
На повороте	51
«На взятие Хотина»	63
Бунт	76
Скитания	85
Снова в Петербурге	97
На пороге Академии наук	106
Словарь старинных слов	121

37400
Обложка П. Алякринского

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Ответств. редактор *В. Каси-
менко.*

Подписано к печати 22/IV
1944 г. 7³/₄ печ. л. (7,42 уч.-
изд. л.) 37 400 зн. в печ. л.
Тираж 25 000 экз. Заказ № 4492.
Л35377. Цена 5 р. 20 к.

Фабрика детской книги Детгиза
Наркомпроса РСФСР, Москва,
Сушевский вал, 49.

Цена 5 р. 20 к.

16